

Виталий Александрович Закруткин.

Матерь Человеческая

Эту женщину я не мог, не имел права забыть.

Нелегкая ее жизнь, чистая душа, характер, глубокий и добрый, наконец, то, как в полном одиночестве пережила она те страшные месяцы, которые стали для нее великим испытанием, - все это было мне известно, и я не забывал ее. Но потом отмеченные кровавыми боями последние годы войны, трудные походы по чужим землям, ранение, госпиталь, возвращение в разоренную врагами родную станицу, потеря близких, дорогих моему сердцу людей стерли, размыли в памяти образ этой женщины, и черты ее забылись, словно растаяли в белесой пелене утреннего тумана над заолодавшей осенней рекой...

Прошли годы... И вот однажды в древнем прикарпатском городе, куда я приехал по просьбе старого фронтового друга, мне вдруг вспомнилось все, что я знал о женщине, которую не смел забыть.

Получилось это так. Каждое утро, до восхода солнца, я выходил на прогулку: бродил по пустынным аллеям векового парка, медленно поднимался по крутому склону высокого холма, который местные жители именовали Княжьей горой. Там, на вершине холма, присев на железную скамью, я любовался старым городом. Озаренный желто-розовыми солнечными лучами, повитый легкой, призрачной дымкой, город являл собой живую картину человеческой жизни на протяжении семи веков; руины древних замков, полуразрушенные стены монастырей, украшенные позолотой иезуитские, бернардинские и доминиканские костелы, ветхие деревянные церквушки и мрачные соборы, островерхие, покрытые красной черепицей дома и остатки тронутых мшистой прозеленью пороховых башен, узкие, кривые переулки и

широкие площади, бронзовые статуи на гранитных постаментах, радужные фонтаны, парки и кладбища - запечатленные многими людскими поколениями памятники их жизни - вызвали молчаливое раздумье, мысли о вечном, неотвратимом течении времени...

Неподалеку от скамьи, на которой я обычно сидел, рос раскидистый клен, а у клена белела ноздреватая, источенная дождями каменная ниша. В нише стояло изваяние мадонны с младенцем на руках. И мадонна и пухлощекий ее младенец были ярко и грубо раскрашены масляной краской. На темноволосой голове мадонны красовался серый от пыли восковой веноч, а у ног ее, на каменном карнизе, постоянно лежали свежие, обрызганные водой живые цветы: белые и алые гладиолусы, светло-голубые флоксы, несколько зеленых веток папоротника.

Цветы приносили двое дряхлых стариков - мужчина и женщина. На вершине Княжьей горы они появлялись раньше меня, клали цветы к подножию мадонны и, прижавшись друг к другу, подолгу стояли молча. Чаще всего я видел лишь их согбенные спины и низко опущенные седые головы. Какое горе согнуло этих бедно одетых людей, о чем они просили каменную мадонну - кто знает? Может, они потеряли любимого сына или, скошенная неизлечимой болезнью, умирала их единственная дочь? А может, кто-то жестоко обидел беззащитных стариков, или остались они, никому не нужные, без кровли и без куска хлеба? Широким и глубоким, как море, бывает горе людское, и чаще всего остается оно немым...

Свершив свою безмолвную молитву, старики каждый день проходили мимо моей скамьи и ни разу на меня не взглянули. А я после их ухода долго смотрел на раскрашенную мадонну, и странные мысли одолевали меня.

"Тебя, женщину по имени Мария, люди назвали матерью божьей, - думал я. - Люди поверили, что ты, непорочная, родила им спасителя-бога, принесшего себя в жертву и распятого за людские грехи. И люди сложили в твою честь песнопения-молитвы и стали именовать тебя владычицей и

госпожой, без искуса мужеска зачавшей, присноблаженной, невестой
неневестной. Богородительница, царица небесная, приснодева, пречистая,
источник живота родшая, богоизбранная, предстательница, заступница
благодатная, богоневестная мать - так называют тебя люди. Они
построили тебе великолепные храмы, и самые великие художники мира
украсили эти храмы твоим изображением. Голову твою и голову твоего
младенца-сына окружили сияющим нимбом святости. Искусные златокузнецы и
мастера-бриллиантчики одели тебя и сына драгоценными ризами икон. Лик
твой, дева Мария, запечатлели на храмовых хоругвях, на бармах - царском
оплечье, в священных книгах и гравюрах, и рыцари-крестоносцы и
полководцы-воители, отправляясь на битву, преклоняли колени перед тобой.
Именем твоим отцы-инквизиторы судили мужчин и женщин, именуя несчастных
еретиками-отступниками и живьем сжигая их на кострах..."

В густых ветвях клена тенькала синица, пестрые дрозды носились среди
пихт и сосен. Золотыми отсветами солнца переливался, мерцал внизу
древний город. В небесной синеве плыли редкие белые облака.

Неподвижными, кукольными глазами смотрела мадонна на меня, на
деревья, на город. У ее ног лежали оставленные стариками цветы, и от них
струился еле уловимый, грустный, легкий запах увядания.

"За что, женщина, люди поклоняются тебе? - мысленно спрашивал я,
всматриваясь в бледно-желтое лицо мадонны, в кукольные глаза ее. - Ведь
ты никогда не жила на свете. Ты выдумана людьми. А если даже ты была,
Мария, то что тобой свершено в жизни и чем заслужила ты поклонение? Если
верить евангелистам, ты вышла замуж за плотника, неизвестно от кого
родила сына и потеряла его, распятого на кресте. Смерть сына - тяжкое,
неизбывное горе для матери. Но разве нет на земле матерей человеческих,
испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые ниспосланы были
тебе? Кто же измерит их горе? Кто исчислит все их утраты? Кто им воздаст
за их неустанный труд, за любовь к людям и милосердие, за материнское

терпение, за пролитые ими слезы, за все, что пережили они и свершили во имя жизни на любимой ими нелегкой земле?"

Так думал я, всматриваясь в раскрашенное лицо каменной девы Марии, и в этот миг вдруг вспомнил женщину, которую не смел, не имел права забыть. Однажды, в годы войны, наши пути с ней случайно пересеклись, и теперь, спустя много лет, я не могу не рассказать о ней людям...

В эту сентябрьскую ночь небо вздрагивало, билось в частой дрожи, багряно светилось, отражая полыхавшие внизу пожары, и не было на нем видно ни луны, ни звезд. Над глухо гудящей землей громыхали ближние и дальние пушечные залпы. Все вокруг было залито неверным, тусклым медно-красным светом, отовсюду слышалось зловещее урчание, и со всех сторон напоздали невнятные, пугающие шумы...

Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтоб не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе.

Она легла на живот, уткнулась лицом в сухую траву. Но долго лежать так ей было больно и неудобно - беременность давала о себе знать. Вдыхая горьковатый запах травы, она повернулась на бок, полежала немного, потом легла на спину. Вверху, оставляя огненный след, гудя и высвистывая, проносились реактивные снаряды, зелеными и красными стрелами пронзали небо трассирующие пули. Снизу, от хутора, тянулся тошнотворный, удушливый запах дыма и гари.

- Господи, - всхлипывая, шептала Мария, - пошли мне смерть, господи... Нет у меня больше сил... не могу я... пошли мне смерть, прошу

тебя, боже...

Она поднялась, стала на колени, прислушалась. "Будь что будет, - подумала она в отчаянии, - лучше помереть там, со всеми". Подождав немного, оглядываясь по сторонам, как затравленная волчица, и ничего не видя в алом, шевелящемся мраке, Мария поползла на край кукурузного поля. Отсюда, с вершины покатога, почти неприметного холма, хутор был хорошо виден. До него было километра полтора, не больше, и то, что увидела Мария, пронизало ее смертным холодом.

Все тридцать домов хутора горели. Колеблемые ветром косые языки пламени прорывались сквозь черные клубы дыма, вздымали к потревоженному небу густые россыпи огненных искр. По освещенной заревом пожара единственной хуторской улице неторопливо ходили немецкие солдаты с длинными пылающими факелами в руках. Они протягивали факелы к соломенным и камышовым крышам домов, сараев, курятников, не пропуская на своем пути ничего, даже самого завалящего катушка или собачьей конуры, и следом за ними вспыхивали новые космы огня, и к небу летели и летели красноватые искры.

Два сильных взрыва потрясли воздух. Они следовали один за другим на западной стороне хутора, и Мария поняла, что немцы взорвали новый кирпичный коровник, построенный колхозом перед самой войной.

Всех оставшихся в живых хуторян - их вместе с женщинами и детьми было человек сто - немцы выгнали из домов и собрали на открытом месте, за хутором, там, где летом был колхозный ток. На току, подвешенный на высоком столбе, раскачивался керосиновый фонарь. Его слабый, мигающий свет казался едва заметной точкой. Мария хорошо знала это место. Год тому назад, вскоре после начала войны, она вместе с женщинами из своей бригады ворошила на току зерно. Многие плакали, вспоминая ушедших на фронт мужей, братьев, детей. Но война им казалась далекой, и не знали они тогда, что ее кровавый вал докатится до их неприметного, малого,

затерянного в холмистой степи хутора. И вот в эту страшную сентябрьскую ночь на их глазах догорал родной хутор, а сами они, окруженные автоматчиками, стояли на току, словно отара бессловесных овец на тырле, и не знали, что их ждет...

Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она вскочила, хотела кинуться туда, на ток, но страх остановил ее. Попятившись, она снова приникла к земле, впилась зубами в руки, чтобы заглушить рвущийся из груди истошный крик. Так Мария лежала долго, по-детски всхлипывая, задыхаясь от едкого, ползущего на холм дыма.

Хутор догорал. Стали стихать орудийные залпы. В потемневшем небе послышался ровный гул летящих куда-то тяжелых бомбардировщиков. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач и короткие, злые выкрики немцев. Сопровождаемая солдатами-автоматчиками нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Дорога пролегала вдоль кукурузного поля совсем близко, метрах в сорока.

Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. "Куда ж они их гонят? - билась в ее воспаленном мозгу лихорадочная мысль. - Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинные женщины..." Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. Три женщины несли на руках грудных детей. Мария узнала их. Это были две ее соседки, молодые солдатки, мужа которых ушли на фронт перед самым приходом немцев, а третья - эвакуированная учительница, она родила дочку уже здесь, на хуторе. Дети повзрослее ковыляли по дороге, держась за подолы материнских юбок, и Мария узнала и матерей и детей... Неуклюже прошагал на своих самодельных костылях дядя Корней, ногу ему отняли еще в ту германскую войну. Поддерживая друг друга, шли двое ветхих стариков-вдовцов, дед Кузьма и дед Никита. Они каждое лето сторожили колхозную бахчу и не раз угощали Марию сочными, прохладными арбузами. Хуторяне шли тихо, и лишь только кто-нибудь из женщин начинал громко,

навзрыд плакать, к ней тотчас же подходил немец в каске, ударами автомата сбивал ее с ног. Толпа останавливалась. Ухватив упавшую женщину за ворот, немец поднимал ее, быстро и сердито лопотал что-то, указывая рукой вперед...

Всматриваясь в странный светящийся полумрак, Мария узнавала почти всех хуторян. Они шли с корзинками, с ведрами, с мешками за плечами, шли, повинувшись коротким окрикам автоматчиков. Никто из них не говорил ни слова, в толпе слышался только плач детей. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль:

- Сволочи! Пала-а-чи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии!
Не буду вашей батрачкой, гады!

Мария узнала голос. Кричала пятнадцатилетняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. До войны Саня училась в седьмом классе, проживала в школьном интернате в далеком районном центре, но школа уже год не работала, Саня приехала к матери и осталась на хуторе.

- Санечка, чего это ты? За молчи, доченька! - запричитала мать. -
Прошу тебя, замолчи! Убьют они тебя, деточка моя!

- Не буду молчать! - еще громче крикнула Саня. - Пускай убивают,
бандиты проклятые!

Мария услышала короткую автоматную очередь. Хрипло заголосили женщины. Лающими голосами закаркали немцы. Толпа хуторян стала удаляться и скрылась за вершиной холма.

На Марию навалился липкий, холодный страх. "Это Саню убили", - молнией обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. За перелеском, восточное хутора, то здесь, то там вспыхивали осветительные ракеты. Они повисали в воздухе, освещая мертвым желтоватым светом изуродованную землю, а через

две-три минуты, истекая огненными каплями, гасли. На востоке, в трех километрах от хутора, проходил передний край немецкой обороны. Вместе с другими хуторянами Мария была там: немцы гоняли жителей рыть окопы и ходы сообщения. Извилистой линией они вились по восточному склону холма. Уже много месяцев, страшась темноты, немцы по ночам освещали линию своей обороны ракетами, чтобы вовремя заметить цепи атакующих советских солдат. А советские пулеметчики - Мария не раз видела это - трассирующими пулями расстреливали вражеские ракеты, рассекали их, и они, угасая, падали на землю. Так было и сейчас: со стороны советских окопов затрещали пулеметы, и зеленые черточки пуль устремились к одной ракете, ко второй, к третьей и погасили их...

"Может, Саня живая? - подумала Мария. Может, ее только ранили и она, бедненькая, лежит на дороге, истекает кровью?" Выйдя из гущины кукурузы, Мария осмотрелась. Вокруг - никого. По холму тянулся пустой затравевший проселок. Хутор почти догорел, лишь кое-где еще вспыхивало пламя, да над пепелищем мельтешили искры. Прижимаясь к меже на краю кукурузного поля, Мария поползла к тому месту, откуда, как ей казалось, она слышала крик Сани и выстрелы. Ползти было больно и трудно. На меже сбились согнанные ветрами жесткие кусты перекати-поля, они кололи коленки и локти, а Мария была босиком, в одном старом ситцевом платье. Так, раздетой, она минувшим утром, на рассвете, убежала с хутора и теперь проклинала себя за то, что не взяла пальто, платок и не надела чулки и туфли.

Ползла она медленно, полуживая от страха. Часто останавливалась, вслушивалась в глухие, утробные звуки дальней стрельбы и снова ползла. Ей казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжелое, смертное гудение.

Саню она нашла там, где и думала. Девочка лежала, распростертая, в кювете, раскинув худые руки и неудобно подогнув под себя босую левую

ногу. Еле различая в зыбком мраке ее тело, Мария прижалась к ней, щекой ощутила липкую влажность на теплом плече, приложила ухо к маленькой, острой груди. Сердце девочки билось неровно: то замирало, то колотилось в порывистых толчках. "Живая!" - подумала Мария.

Оглядевшись, она поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Она спотыкалась, дышала хрипло, боясь, что вот сейчас уронит Саню, упадет и больше не поднимется. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустила на колени и потеряла сознание...

Очнулась она от надрывного стога Сани. Девочка лежала под ней, захлебываясь от заполнившей рот крови. Кровь залила лицо Марии. Она вскочила, подолом платья протерла глаза, прилегла рядом с Саней, приникла к ней всем телом.

- Саня, деточка моя, - шептала Мария, давясь слезами, - открой глазки, дите мое бедное, сиротиночка моя... Открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко...

Дрожащими руками Мария оторвала кусок своего платья, приподняла Санину голову, стала вытирать клочком застиранного ситца рот и лицо девочки. Прикасалась к ней бережно, целовала солоноватый от крови лоб, теплые щеки, тонкие пальцы покорных, безжизненных рук.

В груди у Сани хрипело, хлюпало, клокотало. Поглаживая ладонью детские, с угловатыми колонками ноги девочки, Мария с ужасом почувствовала, как холодеют под ее рукой узкие ступни Сани.

- Прокинься, деточка, - стала молить она Саню. - Прокинься, голубочка... Не умирай, Санечка... Не оставляй меня одну... Это я с тобой, тетя Мария. Слышишь, деточка? Мы же с тобой только двое остались, только двое...

Над ними однообразно шелестела кукуруза. Утихли пушечные залпы.

Потемнело небо, лишь где-то далеко, за лесом, еще содрогались красноватые отсветы пламени. Наступил тот предутренный час, когда убивающие друг друга тысячи людей - и те, кто, подобно серому смерчу, неся на восток, и те, кто грудью своей сдерживал движение смерча, - утомились, устали корезить землю минами и снарядами и, одуревшие от грохота, дыма и копоти, прекратили страшную свою работу, чтобы отдышаться в окопах, отдохнуть немного и вновь начать трудную, кровавую жатву...

Саня умерла на рассвете. Как ни старалась Мария согреть смертельно раненную девочку своим телом, как ни прижималась к ней горячей своей грудью, как ни обнимала ее - ничего не помогло. Похолодели Санины руки и ноги, замолкло хриплое клокотание в горле, и вся она стала застывать.

Мария закрыла Сане чуть приоткрытые веки, сложила на груди исцарапанные, со следами крови и лиловых чернил на пальцах, одеревеневшие руки и молча села рядом с мертвой девочкой. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии - смерть мужа и малого сына, два дня назад повешенных немцами на старой хуторской яблоне, - как бы уплыло, заволкло туманом, сникло перед лицом этой новой смерти, и Мария, пронзенная острой внезапной мыслью, поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной, широкой реке горя людского, черной, озаренной пожарами реке, которая, затапливая, руша берега, разливалась все шире и шире и все быстрее стремилась туда, на восток, отдаляя от Марии то, чем она жила на этом свете все свои недолгие двадцать девять лет...

Утро наступало медленно. Нехотя забрезжила бледная, размытая заря. Низко, с гортанным карканьем, над кукурузой пролетела стая ворон. Тронутые холодной росой, притихли, вяло обвисли влажные кукурузные метелки. Со стороны окопов доносились глуховатые винтовочные выстрелы и редкие пулеметные очереди.

Обхватив колени руками, Мария смотрела на мертвую Саню. Нос девочки уже заострился, лоб и щеки отливали матовой восковой желтизной. На отвисшем подбородке и на левой щеке засохли темные пятна крови. Прядка белесых волос прилипла к виску.

- Сейчас я обряжу тебя, бедная ты сиротиночка, - тихо проговорила Мария, - и личико твое обмою, и косички заплету, и ротик твой закрою... Трудно мне будет выкопать тебе могилку, дитя мое несчастное, нет у меня ни лопаты, ни ломика...

Марию бил озноб. Она зябко поводила плечами, шептала слова, не вникая в их смысл. Тронув рукой пожелтевшую руку Сани, сказала, словно обращалась к живой:

- Пальцы-то у тебя в чернилах, девчоночка... хоть школу вашу закрыли, а грамотной ты хотела быть... Учительницей быть хотела. Не довелось тебе выучиться...

На увядших космах пырея, который обильно покрыл междурядья неполотой кукурузы, лежала утренняя роса. Мария поднялась, омыла росой липкие грязные руки, оторвала от подола платья тряпицу и, увлажнив ее росой, стал отмывать от крови застывшее лицо Сани. Потом она осторожно подтянула тряпицей отвисший подбородок девочки, концы мокрой тряпицы подвязала на темени, стала поправлять ее светлую косу и вскрикнула от жгучего укола в палец. Высосала выступившую на пальце капельку крови. Осторожно перебрала растрепанную косичку умершей и нашла запрятанный в волосах значок с отогнувшейся острой застежкой.

Мария подержала значок на ладони. На его алой эмали блестел профиль Ленина. Мария заплакала.

- Вот, товарищ Ленин, - сказала она, давясь слезами, - вот чего сделали с людьми, с бедной Санечкой, со мною... Куда мне теперь податься, товарищ Ленин? Скажите, дайте мне ответ, Владимир Ильич, научите меня... Отец мой, и мать моя, и муж мой, и сыночек мой малый

жизни лишились, и осталась я на белом свете одна...

Долго убивалась Мария, долго плакала, всхлипывая и причитая, потом упала ничком на пахоту, и ей показалось, что она летит куда-то вниз, в черную бездну. Над ней, будто короткий грозовой гром, со свистящим подвыванием совсем низко пронесли самолеты-штурмовики. Мария очнулась. Алый значок она приколола к темному, затвердевшему от крови платишку. Сани, отошла немного и, опустившись на колени, стала рыть могилу.

В эту осень дождей было мало, поросшая сорняками пахота затвердела. Мария рыла по-собачьи, с трудом подгребая под себя сухую, комковатую землю. У нее заболели пальцы, у ногтей появились болючие, кровоточащие заусеницы. Она села, вытерла пот. Подумав, оторвала от подола еще одну длинную тряпицу, разделила на десять равных лент. Теперь ее застиранное, захлюстанное росой платье превратилось в лохмотья. Помогая себе зубами, Мария туго забинтовала и завязала пальцы. Ей нестерпимо хотелось пить, но воды не было. Она пожевала влажную траву, с отвращением выплюнула горький зеленоватый комок и снова стала копать, углубляя яму.

Подумав о том, что надо знать длину могилы, чтобы не копать лишнего, она подошла к Сане, четвертями измерила ее неподвижное, вытянутое тело. Получилось семь с половиной четвертей. Она отметила вдоль ямы девять. "Так, - подумала, - ей не будет тут тесно". Потом снова стала на колени, продолжая рыть могилу.

Где-то на западе послышался ровный, невнятный гул. Тяжкий гул нарастал. Мария легла, приложив ухо к земле. Земля глухо, утробно гудела. Мария поняла: по дороге вдоль хутора идут немецкие танки. Она видела их однажды, грузные, пышущие жаром громадины с черными крестами и чужими непонятными буквами на боках и на башнях. "Подавят они наших, - с тоской и страхом подумала Мария, - захоронятся в лесу, потом выскочат и начнут давить". Не успела она так подумать, как вдруг из-за леса загрохотали беспорядочные залпы пушек. Над головой Марии с воем, с

диким, пронзительным шелестом стали проноситься снаряды. Они рвались в той стороне, откуда слышался грозный скрежет танков. Три снаряда разорвались где-то совсем близко, на кукурузном поле. Воздушная волна отбросила Марию и мертвую Саню к самой меже...

В ушах у Марии звенело. Глаза запорошило пылью. Бурая пыль облаком колебалась над кукурузой, застилая солнце. Тело Сани, такое же прямое и неподвижное, лежало неподалеку. Как видно, залпы советских пушек не смогли задержать движение танков, теперь они рычали у самого леса.

Мария подождала немного, протерла глаза, подошла к Сане, обобрала вокруг нее сбитые взрывами сухие кусты перекати-поля, взяла труп девочки на руки и понесла к недорытой могиле. Могилу рыла до самого подвечерья, вслушиваясь в отдаленную трескотню пулеметов, в редкие выстрелы пушек и разрывы мин. Руки у нее разламывались от усталости и боли, во рту пересохло, но роса давно сошла, и ей нечем было утолить жажду.

На закате солнца Мария подтащила тело Сани к могиле, опустила в яму ее босые ноги, поцеловала в лоб, оправила труп в глубине ямы. Плакать Мария уже не могла.

- Прощевай, деточка, - хрипло сказала она, - пусть земля тебе будет пухом...

Изорванное платье Марии было мокрым от пота. Солнце зашло, потянуло прохладой. Мария стала дрожать от озноба. С лихорадочной быстротой, чтобы успеть до темноты, она стала обрывать с кукурузных початков сухие, шуршащие листья и таскать их в борозду. Рук она уже почти не чувствовала, но продолжала рвать, надеясь на то, что в ворохе листьев сможет укрыться от ночного холода. Ей очень хотелось есть, но, кроме перезрелых, твердых, как камень, початков, вокруг ничего не было. С трудом разломив пополам длинный початок, она стала выгрызать на сломе жесткие зерна, раскусывала их, ворочала во рту, но они застревали в горле, вызывали кашель и тошноту.

Разбитая, обессиленная, она прилегла на ворох кукурузных листьев, стала умащиваться, укрываться с боков и сверху. Долго ворошила, перекладывала листья, охапку положила под голову, другую нагребла на себя, свернулась на боку, подтянув колени к самому подбородку, и затихла. Уснула она не сразу, долго всхлипывала, прерывисто дышала, на короткое время ее охватывало полузабытье, и она отдыхала. Только к полуночи вконец измаянную Марию охватил спасительный сон... В эти недолгие часы перед ней в отрывочных, то сладких, то горестных сновидениях промелькнула почти вся ее жизнь...

Ей снилось, что она летит по теплomu весеннему воздуху над зелеными, испещренными темными межами полями и у самой дороги узнает свое поле, на котором стоит ее отец, не такой худой, заросший рыжеватою щетиной, каким он был, когда его расстреливали белогвардейцы, а совсем молодой и красивый. Ветер шевелит его кудрявые волосы, он машет рукой, зовет Марию к себе, а она улыбается и не хочет спускаться на землю, потому что ей приятно, не чувствуя веса своего тела, легкой птицей парить над землей, видеть голубой извив речушки, и вербы на берегах, и стога сена, и белые, будто игрушечные, домики хутора...

Потом, после какого-то темного, томительного провала, Мария вдруг увидела пламя. Она застонала во сне, подумав, что это горит хутор, но это было пламя пионерского костра на берегу речки, и вокруг костра танцевали мальчики и девочки в красных галстуках, и она сама, двенадцатилетняя Маша, тоже держала кого-то за руку, пела веселую песню, и ей было так радостно и хорошо, что она хотела обнять всех: и учителей, стоявших под вербой, и высокого, ладного пионервожатого Ваню, который позже, через шесть лет, стал ее мужем, и хуторских мальчишек и девчонок, здоровых, румяных, чисто одетых. Они все смеялись, пели, плясали, и все увидели, как на востоке, за речкой, за зелеными лугами, теплая, лучистая, загорается алая утренняя заря. Но оказалось, что это вовсе не

заря, а огромный, прозрачный, охвативший полнеба значок, и оттуда, из алой зари, - все увидели - улыбается живой Ленин...

Ночной холод разбудил Марию. Она проснулась, всмотрелась в звездное небо, еще не понимая, где она и что с ней произошло, а когда то страшное, что она пережила, дошло до ее сознания и Мария поняла, что нет ни пионерского костра, ни учителей, ни мужа Ивана, а есть только дотла сгоревший хутор, убийства и смерть, она упала, зарыла лицо в холодные кукурузные листья и забилась в безудержном плаче.

Мария не знала, что за те два-три часа, пока она спала, вражеские танки прорвали за речкой слабую линию советской обороны, выбили советских солдат из окопов и, сопровождаемые пехотой и самоходной артиллерией, устремились на восток. Все более отдаленными и глухими стали пушечные залпы, а взрывы мин и пулеметные очереди уже не были слышны совсем. Только на дальней шоссейной дороге - она проходила севернее хутора, километрах в пятнадцати, - до слуха Марии едва доносилось невнятное урчание грузовиков, да изредка пролетали почти невидимые в темноте немецкие ночные бомбардировщики. Мария не знала и не могла знать, что здесь, на неубранном кукурузном поле, она осталась одна в глубоком немецком тылу, что фронт все дальше откатывается на восток, что все окрестные хутора по приказу немецкого командования сожжены дотла, а уцелевшее после зверских казней их население угнано в Германию. И не осталось в этих глухих местах ни одного живого человека, кроме нее, Марии...

Вздрагивая от рыданий, страшась темноты, Мария снова зарылась в листья и, согревшись, уснула. И снова ей снились разрозненные обрывки ее жизни: давние похороны матери, лунная ночь в майском лесу и жаркие объятия Ивана; веселая пора сенокоса, узкое займище по обе стороны речушки, дурманящий запах срезанных косами трав; то она видела себя одетой в белое платье восемнадцатилетней невестой и сладко замирала от

первого на людях поцелуя милого и желанного своего Вани; то слышались ей громкие споры и ругань хуторских мужиков в тот памятный вечер, когда районный уполномоченный предложил всем вступить в колхоз; то мучилась она от свирепого зимнего холода и проклинала дырявый колхозный коровник, и председателя, который не хотел чинить крышу, и дойку коров, от которой у нее опухли руки...

Разбудило Марию стрекотание сорок. Она открыла глаза и, не шевелясь, смотрела на птиц. Две сороки сидели, покачиваясь, на чуть склоненных стеблях кукурузы и о чем-то разговаривали. Марию поразили тишина и эти живые птицы, которых она не видела уже три дня. Где-то очень далеко ухали пушки. Солнце осветило кукурузные метелки. Трава в междурядьях казалась серебряной от обильной росы. Разворошив листья, Мария села. Сороки тотчас же улетели.

Жажда и голод ослабили Марию. Она поднялась и тотчас почувствовала противную тошноту и головокружение. "Что делать? - подумала Мария. - Куда идти?" Она вспомнила, что рядом с кукурузным полем колхозники сажали поздний картофель, свеклу и капусту. Все это осталось неубранным. "Пойду туда, - решила Мария, - иначе я помру". Затравленно оглядываясь, стараясь не касаться стеблей кукурузы, чтобы шелест сухих листьев не выдал ее, она медленно пошла к западной меже поля...

Небольшая, кареглазая, с едва заметными конопинками на носу, она шла, переваливаясь, полуголая, едва прикрытая оборванными, пожухшими от крови лохмотьями. В разметавшихся по плечам каштановых ее волосах топорщились кукурузные листья, ломкие стебельки полыни; полные, округлые икры маленьких босых ног были исцарапаны, покрыты ссадинами.

Выйдя на межу, она осмотрелась и, страшась встречи с немцами, поползла между рядами картофельной ботвы. Не поднимая головы, стала рукой подрывать куст картофеля. Израненные пальцы нестерпимо болели, но она все же вырыла две картофелины, потеряла их между ладонями, чтобы

очистить от комочков сухой земли, и стала с жадностью есть. Пресная мякоть картофеля не утолила голода, только вызвала острую резь в желудке.

Мария прилегла в борозде, закинула руки за голову, закрыла глаза. Изнывая от горя, она вспомнила все, чем жила эти годы и как осталась одна...

В гражданскую войну белогвардейский карательный отряд расстрелял ее отца-коммуниста. Марии было тогда семь лет, но она помнила, как четверо пожилых бородатых казаков подвели связанного отца к глинобитной стенке соседского сарая, расстреляли, бросили его тело в телегу, забросали навозом и вывезли в поле. Была ранняя весна, слежавшийся за зиму навоз струил призрачный парок, а тощие лошади долго не могли вытащить из грязи. После ухода белогвардейцев хуторяне привезли мертвого отца и похоронили на кладбище. Когда умерла мать, Марии было шестнадцать лет. Она осталась круглой сиротой, и за ней приглядывали соседи, родители Ивана. Они отремонтировали ее убогую халупку, помогли огородить двор вербовым плетнем. Иван был старше Марии на три года. Оба они смогли окончить только четыре класса начальной школы, потому что школа была далеко, в районном селе, да и по хозяйству надо было работать, чтобы добыть кусок хлеба. Иван и Мария были комсомольцами. Они в числе первых вступили в колхоз. Маленькая, ладная Мария давно нравилась Ивану, они часто гуляли в лесу, долгие вечера просиживали за хутором, на берегу мелководной речушки. Вскоре они поженились, а через год после свадьбы Мария родила сына, которого назвали Васей.

Высокий, сильный Иван души не чаял в своей жене. Таясь от хуторян, любил носить ее на руках, за маленький рост называл кнопочкой, а за смешные, едва заметные веснушки на переносице - конопулей. Проходили годы, но Иван не растерял своей любви. Он все больше привязывался к Марии, уважал ее за тихий, спокойный нрав, за скромность, за то, что в

доме у них всегда было чисто и уютно. И Мария отвечала ему такой же любовью.

Оба они работали в третьей бригаде колхоза имени Ленина: он - шофером, она - дояркой. Правление колхоза было далеко, километров за тридцать, а все взрослые жители заброшенного в степную глухомань хутора и составляли третью бригаду: сеяли хлеб, выращивали крупный рогатый скот и свиней. Руководил бригадой старый коммунист, бывший пастух дядя Федор. Вторым коммунистом был Иван.

Перед войной Иван и Мария с помощью колхоза построили новый домик, насадили молодой сад. Домик поставили на краю хутора. Тут и думали прожить жизнь. Но все сложилось иначе. В первый же день войны Ивана, бригадира дядю Федора и одиннадцать хуторян вызвали в военкомат и отправили на фронт. Осенью жена дяди Федора тетка Марфа получила похоронную, а через несколько месяцев на хуторе появился исхудавший, на себя не похожий Иван. Левая рука его была ампутирована выше локтя. Мария обрадовалась возвращению мужа, утешала его, как могла, но, видно, в недоброе время вернулся он домой. Лавина войны неотвратимо приближалась к хутору. Немцы успешно развернули летнее наступление на юге. Советские армии отступали к Волге и Кавказу. В эти дни, как на грех, у Ивана поднялась температура, в культе отрезанной руки открылись свищи. Председатель колхоза свозил его в районную больницу, там сказали, что в кости культы идет воспалительный процесс, что называется это остеомиелит, что требуется специальное лечение, которое врачи сейчас обеспечить не могут, так как весь врачебный персонал эвакуируется.

Дни, прожитые Иваном после возвращения из больницы, были самыми черными днями в жизни его семьи...

Сейчас, лежа среди сухой картофельной ботвы, Мария вспоминала эти страшные дни, полные горя, слез, тяжелых предчувствий, ожидания чего-то неминуемого, неотвратимого, как смерть. Она помнила каждое сказанное

тогда Иваном слово и каждое свое слово, помнила, где и как говорились эти слова, какое выражение лица было у больного мужа и как плакал десятилетний Васятка...

Вернувшись из больницы, Иван прилег на широкой деревянной скамье, поставленной в тень старой яблони, единственного дерева, которое оставили невыкорчеванным при посадке молодого сада. Яблоню в давние времена посадил дед Ивана. Его подворье примыкало к речке, потом, когда дед умер, пришло в упадок, а перед войной Иван и Мария, облюбовав удобное место, построили домик на разоренной дедовской усадьбе и сохранили старую яблоню...

Был теплый июньский день. Сквозь листья яблони пробивались солнечные лучи. Под легким ветерком ветки дерева слегка шевелились, и на земле, играя, мерцали светлые пятна. Подмостив под голову стеганку, Иван лежал с закрытыми глазами. Мария сидела рядом, держала горячую руку мужа в своей руке. Васятка, присев на корточки, полел лук на только что политой грядке. Стояла дремотная тишина. Среди молодых деревьев деловито жужжала одинокая пчела. Вдруг до слуха Марии донесся странный, протяжный звук. Ей показалось, что где-то очень далеко гремит гром. Она подняла голову. В чистой небесной голубизне не было ни одного облачка, сияло солнце. А дальние, едва слышные раскаты грома не утихали.

Иван открыл глаза, прислушался, пристально посмотрел Марии в глаза.

- Нам надо уходить, - сказал он, - это они. Мария не поняла:

- Кто - они?

- Немцы.

- Что ты, Ваня? - испуганно сказала Мария. - Какие немцы?

- Те самые, - сказал Иван. - Видать по всему, они скоро будут здесь.

Никогда не видела Мария такого лица у мужа: он смотрел на нее тоскливыми, воспаленными глазами. Небритые, с белесой щетиной щеки его глубоко ввалились, на скулах играл нездоровый румянец, а сухие,

потрескавшиеся губы дрожали.

- Надо уходить, - повторил Иван, - иначе будет поздно.

- Куда ж ты такой пойдешь? - сказала Мария. - Погляди на себя! Ты весь в жару, рука у тебя горячая, как утюг.

- Все равно надо уходить, - сказал Иван. - Ты понимаешь это? Уходить надо от проклятых зверей! Они никого не милуют, убивают старых и малых. Ты не видела, а я видел, что они творят... Людского в них ничего нет. Понимаешь? Ничего! Они ребятишек расстреливают... раненых добивают... грабят... насильничают... Нам надо уходить... уходить надо...

Речь Ивана становилась отрывистой, бессвязной. Он на минуту-другую терял сознание, умолкал, потом снова приходил в себя и не переставал твердить:

- Надо уходить, Маруся! Слышишь? Надо уходить...

Мария заплакала:

- Как же мы уйдем, Ваня? Ты совсем больной, без памяти только сейчас был. Куда мы пойдем и кому мы нужны? И потом... потом... ты знаешь, Ваня... - Она покраснела, опустила голову, понизила голос: - Я в положении... куда мне идти?

Мария приникла щекой к груди Ивана. Они долго молчали. Иван ласково гладил волосы жены, взволнованно шептал:

- Ну хорошо... хорошо, Маруся... Подумаем... Завтра, может, мне станет лучше, я съезжу до председателя, с ним посоветуюсь... Я ведь коммунист... Я много могу сделать... Это ничего, что у меня одна рука. Стрелять можно и одной рукой...

- А что, если тебя... если на тебя донесут, Ваня? - бледнея, сказала Мария. - Если найдется какая-нибудь сволочь, пойдет к немцам и докажет: так, мол, и так, есть у нас в хуторе один-единственный коммунист, и к тому же красноармеец. Что тогда будет?

- Этого не может быть, - сказал Иван, - сволочей у нас нет, да и

хуторяне-то почти все наши родичи. - Иван помолчал, глядя куда-то поверх головы Марии. - А все-таки, Маруся, лучше мне съездить до председателя и в райкоме побывать... Жалко, сил у меня нет, с ног валяюсь... Один не доеду... упаду на дороге и сдохну, как собака... - Губы его искривила вымученная, виноватая улыбка. - Прости меня, Маруся, - сказал он, - это я так, к слову... Завтра выпрошу в бригаде коня и дрожки... вместе с тобой поедем... и Васятку возьмем...

Однако ехать Ивану уже не пришлось. Часа два он пролежал без сознания, метался, рвал на себе рубашку, бредил. Васятка плакал. Мария прикладывала к голове Ивана смоченное холодной водой полотенце, целовала его руку, принималась голосить и умолкала, подавляя рыдания. На ее голос сбегались хуторяне, сгрудились под яблоней, жалостно смотрели на искаженное, покрытое потом лицо Ивана. Когда он пришел в себя и открыл глаза, две пожилые женщины помогли ему сесть, бережно поддерживая под руки.

Стояла тихая пора летнего предвечерья. В хуторских дворах перекликались куры. На крыше дома заливисто ворковали Васяткины голуби. От недалекой речной поймы тянуло прохладным запахом болотной сырости. Где-то за хутором просительно мычал теленок. Казалось, в этот благословенный час тишины и покоя ничто не предвещало беды. Но вот сквозь воркованье голубей, кудахтанье кур, сквозь разрозненные звуки мирного вечера, вначале негромкий, далекий, послышался ровный гул моторов. Он доносился откуда-то из поднебесья, с той стороны, где, опускаясь на длинное лиловатое облако, садилось багряное солнце. Басовитый гул приближался, стало слышно однообразное подвывание, словно там, наверху, кто-то нес тяжкую, непосильную ношу.

Люди подняли головы. Над ними в сопровождении истребителей с оглушительным треском и грохотом пронеслись большие транспортные самолеты с черными крестами на крыльях. Описав полукруг, они

развернулись севернее хутора, отдалились от него, и вдруг люди увидели, как от самолетов стали отделяться темные точки. Они неслись к земле, и над ними, розовые в лучах заходящего солнца, один за другим вспыхивали купола парашютов...

- Ну вот и все, - сквозь зубы сказал Иван, - это немецкий десант.

Они, видать, хотят отрезать путь отхода нашим войскам...

Хуторяне стояли безмолвные, испуганные. Кто-то из женщин заплакал. Старики растерянно переглядывались. Все смотрели на Ивана, ожидая, что он скажет.

- Что ж, дождались и мы гостей, - помедлив, сказал Иван. - Теперь остается одно: всем быть за одного, а одному за всех, иначе пропадем.

Слушайте, чего надо делать.

Всматриваясь в лица хуторян, он заговорил медленно, почти спокойно:

- У кого есть продукты - мука или сало, сахар или чего другое, схороните все чисто, они это загребают под метлу. Поросят, овечек, гусей порежьте, мясо засолите и держите где-нибудь в тайнике, иначе с голода ноги протянете... Все фотокарточки фронтовиков в красноармейской форме, а также письма с фронта схороните, а ежели будут спрашивать, есть ли кто на фронте, отвечайте, что, мол, убит в самом начале войны. У кого есть портреты или же книги Ленина и Сталина, все приберите, чтоб фашистские гады не нашли...

С первых дней детства зная всех стоявших под яблоней людей, Иван стал обращаться к каждому из них в отдельности:

- Ты, Феня, прихоронила свой батарейный приемник, не сдала, когда приказ вышел все приемники сдать, теперь береги его, он нам пригодится... То же самое, дед Корней, с твоей двустволкой. Закопай ее так, чтоб только ты один знал, где она закопана... Ты, тетка Варя, не обижайся на меня, но я тебе скажу прямо: язык у тебя дюже длинный, и ты своим языком людям вред можешь причинить, лучше держи его за зубами...

Так Иван поучал хуторян, а под конец сказал:

- Самое главное - не разводите панику и крепко держитесь один за другого. Не век мы будем под немцем, все одно наша возьмет, и советские бойцы вернутся.

Помолчав, Иван добавил:

- Про то, что у тетки Марфы покойный муж, дядя Федор, был коммунистом, ни один немец не должен знать, иначе ее первую расстреляют. Про то, что Нина Львовна, учительница, эвакуирована до нас, и про то, что она еврейка, тоже надо молчать, не то эти гады прикончат ее вместе с дитем... Ну и насчет меня то же самое. Если спросят, кто, мол, такой, надо говорить одно: наш, дескать, хуторской, коммунистом не был, а руку ему оторвала сенокосилка...

К этому времени у старой яблони собрались все хуторяне. Они внимательно выслушали Ивана. Старики и женщины заверили его, что все будет так, как он сказал, и что они будут приходить к нему за советом. Разошлись хмурые, молчаливые.

Когда стемнело, к Ивановой избе на старом, растрепанном автомобиле неожиданно подъехал секретарь райкома партии. Он попросил Марию оставить его наедине с Иваном, не очень долго разговаривал с ним, попрощался и уехал.

- Чего он говорил? - спросила Мария у мужа.

- Сказал, что если хуторяне меня не выдадут немцам, то мне лучше остаться, и что со мной, когда надо будет, свяжутся наши люди.

- Ну, а ты что сказал?

Иван пожал плечами:

- Мое дело солдатское. Чего ж я должен говорить? Сказал, что за наших хуторян можно головой поручиться и что раз надо, значит, останусь...

В эту ночь далеко за хутором шли бои. Слышны были взрывы мин и пулеметная стрельба. К утру через хуторскую улицу прошли разрозненные,

прорвавшиеся из окружения советские бойцы. Многие из них были ранены. А за речкой уже стали занимать оборону части Красной Армии, до подхода резервов составленные из батальонов народного ополчения, отрядов милиции и вышедших из окружения бойцов. Они поспешно рыли окопы, ходы сообщения, строили блиндажи. Им помогали хуторяне. Оставляя дома больного Ивана, Мария брала лопату, с рассвета уходила за речку и вместе с сотнями людей копала до темноты. Ночами через хутор еще проходили небольшие группы красноармейцев или одиночные бойцы, которым посчастливилось вырваться из "котла". Грязные, темные от пыли, усталые, поддерживая под руки раненых товарищей, они отдыхали на хуторе час-другой, жадно съедали все, что ставили перед ними жалостливые женщины, и, узнав, что за речкой заняли оборону советские войска, уходили туда, к своим...

Председатель райисполкома прислал в бригаду приказ немедленно эвакуировать всех коров, телят и свиней за линию советских окопов и сдать скот под расписку занимавшей оборону воинской части. Приказ привез всадник на взмыленном коне. В тот же день почти весь колхозный скот переправили через реку, а красноармейцы погнали его в тыл...

Через неделю на хутор пришли немцы, большая колонна грузовиков, в которых сидели солдаты в касках. К грузовикам были прицеплены пушки. Немцы постояли полчаса на хуторской улице, потом двинулись к речке, обогнули хутор и остановились на опушке леса. Там их обстреляли с левого берега. В эту ночь немцы выгнали всех взрослых хуторян рыть окопы на правом берегу. Пришлось идти и Марии с Иваном. Ходили они пять ночей. Окопы для немцев рыли под минометным обстрелом своих же бойцов. Немцы отстреливались из леса, а откуда-то по советским окопам лениво стреляли пушки...

- Их, гадов, тут примерно до батальона, - сказал Иван Марии. - Ихние саперы в лесу блиндажи строят для офицеров. Но, видать по всему, это только передовая часть. Где-то они на прорыв пойдут...

До поры до времени немцы не трогали хуторян, да и сами почти не показывались на хуторе, только шоферы на грузовиках и мотоциклисты проезжали. Так было до того дня, пока на дальнем грейдере кто-то не уничтожил немецкий штабной автомобиль. Об этом узнала вездесущая телятница Феня.

- Гранатами, говорят, фрицевскую машину забросали, - захлебываясь от волнения, рассказывала она хуторянам, - офицеров ихних всех чисто перебили, какие-то важные бумаги забрали, а машину спалили.

После этого и произошло то страшное, что сгубило две деревни и хутор, то, чего никто не ждал, то самое, после чего Мария осталась одна на чадной, повитой черным дымом, овейной смертью земле...

Закинув руки за голову, она лежала на картофельном поле. Над ней сияло чистое, бесконечное в холодноватой своей голубизне осеннее небо. Чуть шевелилась натянутая паучком-кочевником на бурьянах серебристая паутина. Совсем рядом с неподвижной Марией, не замечая ее, купалась в пыли стайка куропаток. Серые, испятнанные ржавым накрапом птицы разгребали лапками пыль, валились набок, вытягивали шеи, беспечно переговаривались между собой. По меже деловито прошагал еж. Резко и часто хлопая крыльями, куропатки вдруг взлетели и потянули низко над землей на кукурузное поле. Подняв остроносую мордочку, еж проводил их долгим взглядом, сердито засопел и пошагал дальше, приплюсываясь к дразнящему птичьему следу.

Все на этой родной, с детства знакомой, милой земле было как будто таким, как всегда: так же щедро светило нежаркое сентябрьское солнце, так же щемяще грустно пахли пересушенные травы и просящая влаги земля, так же привычно перекликались сороки, куропатки, вороны, готовые к дальнему странствию стаи скворцов. Все было таким, и все как-то отступило в сторону, в ту томительную полосу отчуждения, которая отделила Марию от всего мира и оставила наедине с тем непоправимым, что

навалилось на нее и чего никто на свете уже не мог отвратить...

...Карательная команда немцев появилась на хуторе перед вечером.

Угрюмые солдаты сошли с грузовиков, постояли на улице, равнодушно поглядывая на притихших, жавшихся к забору жителей. Потом к солдатам подъехал на мотоцикле пожилой тонкогубый фельдфебель. Он что-то сказал, и солдаты рассыпались по всему хутору, стали заходить в каждый двор. Они быстро и небрежно обыскивали дома, сараи, коровники. Кое у кого забрали и побросали в грузовики одеяла, подушки. Пристрелили и освежевали десятка полтора свиней. Никого из жителей пока не тронули.

Взяли одного Ивана. Никто не знал, почему выбор карателей пал на него. То ли у немцев вызвал подозрение его молодой возраст, то ли не понравились им хмурое его лицо и тяжелый взгляд из-под рыжеватых наспуленных бровей. Немцы схватили Ивана и повели к стоявшему на окраине хутора одинокому бригадному домику. Туда же согнали всех хуторских жителей. Плачущая, обезумевшая от страха Мария не заметила, что за толпой побежал и Васятка.

Уже совсем стемнело. Окружившие хуторян немецкие солдаты посвечивали электрическими фонариками. Тонкогубый фельдфебель, стоя на мотоцикле, сказал:

- За бандитское нападение на офицеров великой германской армии мы будем казнить много русских, чтобы другие имели страх и знали, что германский офицер и германский солдат есть лицо неприкасаемое... - Он вытянул худой, костистый палец в сторону Ивана: - В числе других мы будем сейчас казнить этого человека.

Толпа замерла. В темноте раздался крик Фени:

- Он же ни в чем не виноват! Он никуда с хутора не отлучался.

Солдат быстро осветил фонариком Фенино лицо.

Вытянутый палец фельдфебеля протянулся к ней:

- Мы будем сейчас казнить и эту женщину...

...Мария закрыла глаза от слепящего солнца. Лежа на картофельном поле, она слышала гортанное стрекотание сорок, карканье пролетающих сверху ворон, шелестящий шорох сухих бодыльев, вдыхала горький, с примесью дыма и гари запах полыни, и сквозь эти, ставшие чужими, сторонними, звуки и запахи видела только тот невыносимо тяжкий мир, который сузился в ее сознании до одной ночи, в какие-то неуловимые мгновения перерезавшей жизнь надвое.

Вначале этот мир возник в ее закрытых глазах, словно колеблющаяся завеса коричневого мрака. Коричневый мрак то светлел, то сгущался, и в этом странном, тягостном его шевелении размытым пятном плавало потухающее солнце. Оно тускнело, все больше теряло свои очертания и, наконец, пропало, растворилось в кромешной, пугающей тьме... И в этой беспросветной тьме Мария вновь увидела лучи электрических фонариков в руках немецких солдат. Неяркие, голубоватые лучи скользили по лицам потрясенных людей, выхватывали из темноты стоявшего на мотоцикле фельдфебеля, угол шиферной крыши бригадного домика, высокий, раскидистый тополь. Два солдата схватили телятницу Феню, завернули ей руки за спину. Феня закричала. Другие два солдата связали Ивана черным полевым проводом. Этот крепкий провод на хуторе называли гупером. Мария заголосила, расталкивая людей, кинулась к мужу. Женщины зажали ей рот руками, оттащили назад. Она вырывалась, захлебывалась от удушья, но женщины не отпускали ее, и она только мельком увидела, как солдаты подвели Ивана и Феню к тополю, как, истошно вопя, кусая солдат за руки, повис на Иване сын Васятка. Фельдфебель что-то громко сказал солдатам...

Движением тела отталкивая сына, связанный Иван хрипло закричал:

- Смерть фашистской сволочи! Да здравствует коммунизм!

Через минуту, захлестнутые черным гупером, Иван и Феня повисли на толстой ветке тополя... Такая же черная удавка обвила тонкую шею Васятки... Весь извиваясь, он повис рядом с отцом... Черная змея гупера

раздувалась, росла, напознала на Марию и острым, жалящим уколом пронзила ей сердце...

Очнулась она в хате у тетки Марфы. Вокруг нее стояли женщины с заплаканными, опухшими глазами.

- Зараз же беги в кукурузу, - наклонилась к Марии, прошептала тетка Марфа, - на хуторе остались немцы, они про тебя спрашивали. День-два пересидишь в кукурузе, пока эти гады уйдут, иначе они и тебя казнят...

Мария то впадала в беспамятство, то на короткое время приходила в себя. Она вырывалась из рук женщин, билась головой об стену, пыталась бежать туда, к тополю, до крови искусала себе руки. После полуночи, обессиленная, она притихла, вытянулась на кровати и лежала, глядя в потолок невидящими глазами. Потом ее охватил страх смерти. Она задрожала, вскочила с кровати. Ей почудилось, что кто-то шагает за дверью, что сейчас войдут немцы, затают ей горло тугим черным гупером и удавят так же, как удавили мужа и сына.

- Схороните меня, - взмолилась Мария, - схороните, родные, милые... Я не хочу помирать... не хочу... не хочу...

Перед рассветом тетка Марфа вывела ее из хаты, огородами проводила на край хутора и долго стояла, озираясь, пока Мария не исчезла в гущине неубранной кукурузы...

Легкий ветер прошумел в сухой картофельной ботве. Уже давно не было слышно ни одного выстрела, но Мария по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Когда-то в детстве она видела, как соседская собачонка с лаем кидалась на лошадей, запряженных в тяжелый каменный каток. Сосед молотил расстеленный на утопанном току ячмень, гоня лошадей по кругу. Глухо постукивая, каток разминал колосья, перетирал солому. Пегая собачонка хотела ухватить бежавшую рысью лошадь за заднюю ногу, но не рассчитала прыжка и попала под каток. Раздался короткий визг, и через секунду Мария увидела присыпанную соломой раздавленную собачонку... Сосед выругался,

остановил лошадей, отбросил мертвую собаку в сторону и вновь принялся за работу... Мария вспомнила смерть пегой собачонки, и ей показалось, что по ней самой прокатился, изломав все тело, гигантский каток. Руки и ноги ее болели, сердце билось слабо, в ушах не прекращался пугающий однообразный гул. Она подумала, что пришел конец, что сейчас она умрет, потому что ни один человек не может пережить то, что пережила она, и что, конечно, лучше умереть, чем жить такой раздавленной собачонкой, одинокой, никому не нужной...

"Я помру с голода, - подумала Мария, - и так будет лучше. Люди говорят, что голодной смертью помирать легко: сперва только человеку очень хочется есть, и он немного мучается, а потом теряет память и помирает... Скорее бы и мой конец пришел. Кому я теперь нужна? Не осталось у меня никого на свете, и я не хочу жить. Буду вот так лежать и помру..."

Ей было жалко свою разбитую жизнь. Она вновь увидела повешенных мужа и сына, и, хотя немецкие каратели повесили их на ее глазах, она все еще не верила, что это было, ей казалось, что она спит, и она мысленно уверяла себя, что это только дурной сон, который вот-вот кончится, что она сейчас проснется и все будет по-прежнему: с веселым смехом прибежит неугомонный Васятка, и она его поругает за царапины на румяной щеке и за порванную рубашку, потом вернется из своей поездки усталый, запыленный Иван... руки у него будут лосниться от солидола, а промасленный, давно потерявший цвет комбинезон будет пахнуть бензином. Фыркая и отплевываясь, Иван умоется, расчешет рыжеватые волосы большой расческой с выщербленными зубцами и только тогда подойдет к ней, к Марии, слегка нагнется, обнимет, крепко поцелует в губы и, как всегда, ласково назовет ее кнопочкой и конопулей... и она, такая, по сравнению с ним, маленькая, поднимется на носки, чтобы дотянуться до его губ, и они долго будут стоять так, прижавшись друг к другу, а красноватое закатное солнце четко

отпечатает на чистом полу узоры тюлевых занавесок...

Мария тихо заплакала. Облизывая на губах соленые слезы, прошептала:

- Ничего больше не будет... ни Ивана, ни сыночка Васятки... и никто уже не станет звать меня конопулей, и я лучше помру...

С детства не веря в бога, зная, что там, в глубокой синеве осеннего неба, ничто не услышит ее горячей молитвы, никто ей не ответит и ничто не поможет, она стала иступленно просить небо, чтобы ей была ниспослана смерть.

- Я не могу жить, господи, - давясь слезами, шептала Мария, - я не хочу жить. Может, ты все-таки есть, господи? Сделай так, чтоб я скорее отмучилась... Если ты есть, ты, господи, видишь мое горе! Разве можно так жить? У меня все отняли, удавили любимого моего Ваню, и сыночка Васеньку удавили, дите ни в чем не повинное... И хаты наши все спалили, одна зола от них осталась. И Саню, девчонку, как звери, убили. И людей всех угнали, никого не оставили... Не хочу я жить, господи! Пошли мне смерть! Забери меня с этой земли...

Так молилась Мария неведомо кому, так выкликала свою смерть. А жизнь властно звала ее, напомнив о том, что она не одна, что в ней теплится иная, пока еще слитая с измученным материнским телом, но уже своя, отдельная, слабая жизнь, что в чреве ее живет оно, еще незрячее, глухое, безъязыкое, малый комочек, который растет днем и ночью.

Живой незрячий комочек не видит, как жестоко истязают один другого люди, как безжалостно убивают они друг друга. Растущий в теплой тьме материнского чрева, глухой, он не слышит, как, уродуя землю, грозно гремят орудия смерти, не ощущает, как вздрагивает потрясенная земля, как натужно трещат вырываемые из земли живые корни деревьев. Безъязыкий, он не может сказать: "Опомнитесь, люди! Пожалейте себя, не убивайте жизнь на земле! Пожалейте тех, кто еще не пришел, но придет в мир! Пожалейте еще не рожденных, еще не зачатых! Оставьте им светлое солнце, и небо, и

воды, и землю!.. Ведь это вы, мужчины и женщины мира, в прекрасной любви, в исступленных ласках, в торжествующем слиянии живой своей плоти вызываете к жизни нового человека, являющегося из небытия, чтобы наслаждаться обретенной жизнью и быть счастливым... Что вы оставите ему, которого сами воззвали к жизни? Дым пожаров, изувеченную землю, кровь, трупный смрад и черную пустыню? А он, идущий в мир, достоин иного. Он должен возделывать поля, трудиться в поте лица, чтобы добыть хлеб насущный. Так же, как вы, давшие ему жизнь, он захочет насладиться весной, песнями птиц, запахом цветов, лесной прохладой. И так же, как вы, он захочет обрести счастье в любви, в великом и таинственном слиянии человеческой плоти, в том несказанно прекрасном единстве мужчины и женщины, которое делает жизнь неистребимой и одолевает даже смерть... Оставьте ему все это, люди! Не убивайте его, идущего в мир! Он хочет жить..."

По запыленным щекам Марии бежали слезы. Мысли о нерожденном ребенке, о том, что она, зачавшая его женщина-мать, обязана уберечь то живущее в ней, что связывало ее с погибшим Иваном, с Васяткой, отогнали желание смерти. Подчиняясь властному зову жизни, она поднялась и от слабости и подступившей к горлу тошноты тотчас же опустилась на землю. "Это от голода, - подумала Мария, - надо ползти к полю, где растут свекла и морковь..."

Поле было недалеко от того места, где лежала Мария, метров двести, но солнце уже клонилось к закату, и она решила, что надо все же подняться и идти побыстрее. Поднялась, осмотрелась. Вокруг никого не было. Пошатываясь, Мария пошла к свекольному полю. Вечерело. Красноватое солнце коснулось горизонта. За спиной Марии затрещали сухие стебли кукурузы. Она испуганно оглянулась. К ней медленно шли четыре коровы. Впереди коров бежала большая серая собака. Мария узнала собаку. Это был злющий цепной кобель хуторского чабана деда Герасима. Деда с бабкой

немцы угнали вместе со всеми хуторянами, а кобель, когда начался пожар, сорвался с цепи и убежал в поле. Мария помнила, что свирепую эту собаку боялся весь хутор, что многих она перекусала и что дед называл ее Дружком.

Бежать было поздно. Холодея от страха, Мария остановилась, прижала руки к груди. Собака и коровы приближались, направляясь прямо к ней. Она тихонько попятилась.

- Дружок! Дружок! - испуганно крикнула Мария.

Собака остановилась, пристально посмотрела на женщину, слабо шевельнула унизанным репьями хвостом. Она стояла в трех-четырех шагах от Марии, и в ней как будто не было ничего угрожающего. Коровы тоже остановились, но в отличие от собаки в их низко опущенных головах, в странном утробном кряхтенье, в напряженном взгляде было что-то испугавшее Марию. Несмотря на то, что все четыре коровы были красной степной породы, одинаковой темно-рыжей масти, Мария узнала каждую из них: одна принадлежала тетке Марфе, вторая - Фене, а две другие - колхозу. Сейчас они стояли перед Марией, и она, не понимая, что происходит с коровами, стала, пятясь, отходить назад. И коровы и собака медленно пошли за ней.

Резко повернувшись, Мария бросилась бежать в направлении кукурузного поля и услышала за собой глухой топот и мычание. Собака и все коровы бежали следом. Приступ тошноты остановил Марию. Она беспомощно оглянулась. Подбежавшие коровы стояли рядом, хрипло мыча. Из тугого разбухшего вымени каждой из них на землю капало молоко. И только теперь Мария поняла, что случилось с несчастными коровами: хозяев их немцы угнали неведомо куда, а телят, оставшихся на колхозной ферме, уничтожили, когда жгли хутор. Недоенные коровы бродили по полям, изнемогали от избытка молока и ринулись за помощью к первому увиденному ими человеку.

Мария огладила корову, которая стояла ближе всех, присела на корточки. Вымя коровы было горячее, очень тугое. Вначале Мария сдаивала молоко прямо на землю, потом, подставив ладонь левой руки, напилась молока. Ей сразу стало легче. Она омыла молоком грязное лицо, руки, утерлась платьем. Негромко позвала собаку:

- Дружок! Иди, собачка, ко мне! Иди покушай! Ты ж, небось, тоже голодный.

Собака послушно подошла к Марии, полакала молоко из ее сложенной ковшиком ладони, благодарно махнула хвостом и отошла в сторону. Торопясь, Мария подоила всех четырех коров, приласкала каждую.

- Как же вы, бедняжки, намучились! - сказала она, обеими руками почесывая рыжие коровьи лбы. - И как вы без воды обходились, ходите непоенные? Я, спасибо вам, хоть молока напилась. Вы же знаете дорогу к речке, сходили бы напиться! Там вроде совсем тихо стало. Может, уже и нет на речке никого...

Солнце давно село. Сгущались сумерки. Повеяло вечерней прохладой. Надо было устраиваться на ночевку, и Мария решила снова схорониться в кукурузе, нарвать листьев и лечь в борозде, чтоб ее никто не увидел.

- Прощайте, родные мои, - сказала она коровам, - пора спать. Завтра приходите на это место, я вас подою...

Она пошла к кукурузному полю. Оглянулась. Все коровы и собака неторопливо шли за ней. Зайдя в высокие заросли кукурузы, Мария набрела на глубокие воронки. Три воронки темнели рядом. Видимо, отражая атаку вражеских танков, неведомый советский артиллерист стрелял в одну точку, и снаряды легли близко один от другого.

Мария нарвала кукурузных листьев, постелила на дне крайней воронки. Подумала: "Так будет теплее". Она стала умасиваться, прикрывая себя листьями. Собака тоже спустилась вниз, долго вертелась на одном месте, повизгивая, потом, свернувшись калачом, улеглась под самым боком Марии.

- Ложись, Дружок, ложись, - сказала Мария. - Оба мы с тобой бездомные. Ложись! Мне не так страшно будет...

Коровы потолклись немного и легли у края воронки.

Стало совсем темно. В вышине зажглись, замерцали звезды. Ничто не нарушало тишины. Мария всматривалась в звездное небо, чутко прислушивалась к тишине. "Видно, наши далеко отступили, - подумала она, - потому что не стало слышно ни одного выстрела... Я осталась одна среди врагов, и что мне теперь делать, как жить, не знаю... Знаю только одно: отсюда, с хутора, мне некуда идти, и я никуда не уйду... Тут остались Ваня и Васятка. Тут похоронены отец с матерью".

В темноте повернулся, слегка поворчав, сонный Дружок. Наверху, у края воронки, жевали жвачку коровы. Близость коров и собаки, живых существ, успокаивала Марию, напоминала, что теперь она не одна в этом пугающем мире.

После полуночи она услышала далекое пение петуха. Как он остался живым и где подавал свой голос, Мария не знала, но это едва слышное, привычное кукареканье обрадовало ее. "Утром, если будет тихо, пойду на хутор, - решила она. - Может, не все там сгорело. Неужто я не найду какой-нибудь закуток, чтобы укрыться ел холода? Не могу я оставить на тополе Ваню и Васятку... надо отнести их на кладбище, выкопать могилку и похоронить... Я их похороню в одной могилке, рядом с отцом и матерью, чтобы все в одном месте лежали..."

Она сквозь слезы смотрела на звезды, и звезды мерцали, двоились в ее глазах, и эта бесконечная глубина ночного неба, и странная тишина, и запах повлажневшей от росы кукурузы, и теплота собачьего тела, и мирная жвачка коров - все волновало Марию, заставляло думать о том, что ради него, нерожденного, который жил в ней, она должна пережить свое безысходное горе, примириться с тем, что счастливое ее прошлое никогда не вернется и что для него, будущего ребенка, она обязана жить...

Уснула она перед рассветом и спала совсем мало. Разбудило ее мычание коровы. Мария поднялась, вышла из воронки. Дружок уже сидел наверху и встретил ее, как когда-то встречал свою старую хозяйку, приветливо виляя хвостом. Коровы объедали кукурузные початки. Они повернули к Марии головы, пережевывали жесткое зерно, роняя на землю белую пену. Солнце только что взошло. Увядшие метелки кукурузы были озарены розовым светом.

Мария постояла немного, заглушая в себе" тошнотворное чувство страха. "А что, если там немцы? - кольнула ее внезапная тревога. - Что тогда будет? Приду я, а они меня схватят и сразу туда... на тополь... и дите во мне убьют и саму прикончат..."

Еще постояла, послушала. Ни один звук не нарушал тишины. Только коровы за спиной Марии с хрумканьем жевали початки. "Пойду", - решила Мария. Она выбралась на межу, медленно пошла к хутору, не отделяясь от кукурузного поля, чтобы в случае опасности успеть спрятаться. Оглянулась и увидела, что коровы и собака неторопливо шли за ней следом. Когда она останавливалась, тотчас же, выжидая, останавливались и они.

Выйдя на край поля, Мария увидела то, что еще совсем недавно было ее родным хутором. У подножия холма простиралось черное пепелище, на котором видны были остатки покрытых копотью глинобитных стен да кое-где виселись устоявшие во время пожара печные трубы. В нескольких местах еще дымились старые деревья. Утро было тихое, безветренное, дым поднимался вверх и, незаметно колеблясь, таял, исчезал в безоблачном небе. На пепелище не осталось ни одного уцелевшего дома, ни одного живого дерева. Все было черным, мертвым, безмолвным. Только за хутором, в стороне, освещенные низким солнцем, зеленели кладбищенские акации, растущие у могил умерших хуторян. Снизу, от пепелища, тянулся едкий запах дыма и гари. Вороны далеко облетали это гиблое место. С тревожным карканьем они шарахались в сторону, тянули к лесу. Лишь небольшая стая осиротевших домашних голубей кружила в небе, то опускаясь ниже и пугливо разглядывая

пожарище, где еще совсем недавно были их голубятни, то, растерянные, бездомные, взмывали вверх, тщетно ища пристанища в холодноватой небесной синеве...

Полуголая, еле прикрытая затвердевшими от крови и пыли лохмотьями, маленькая, беззащитная в своем одиночестве, стояла Мария на пологом склоне холма, смотрела на сожженный хутор, в котором выросла, любила, работала, вышла замуж, родила сына, и ей казалось, что ничего этого не было, что ей только привиделись и Иван, и Васятка, и все хуторяне, и беззаботное ее детство, и девичество, а было и всегда будет только это черное пепелище, на котором слабо курятся тающие в осеннем воздухе дымки.

Сложив на груди руки, Мария тихо пошла вниз. Рядом с ней шла настороженная собака, а сзади гуськом, одна за другой, шли коровы. Судя по всему, хутор был пуст, в нем не осталось ничего живого...

Не доходя до хутора, Мария остановилась возле коровника. Колхозный коровник был гордостью хуторян. Строили его своими силами, долго не могли достать кирпич и шифер для крыши. Только перед самой войной коровник был, наконец, закончен. Бригада торжествовала: вместо ветхого, крытого соломой глинобитного сарая с подгнившими стропилами, которые однажды обрушились и придавили одиннадцать коров, на краю хутора высился добротный кирпичный коровник, теплый, светлый, с хорошей вентиляцией. Даже скуповатый на похвалу секретарь райкома партии поблагодарил тогда третью бригаду, а в областной газете напечатали фотографию коровника и перечислили фамилии передовых строителей колхоза имени Ленина. Среди других упоминалась там и фамилия Марии с Иваном...

Сейчас коровник стоял, словно его разрубили пополам. Середина крыши обрушилась. У самого входа, в дверном проеме, раздавленные тяжелой грудой кирпича, лежали двое телят с высунутыми посиневшими языками.

Не решаясь подойти к мертвым телятам, по-звериному чуя смерть, коровы

сбились за спиной Марии, наклонили вниз рогатые головы, стали рыть передними ногами землю. Они шумно втягивали ноздрями пахнувший гарью воздух, коротко мычали, и была в их мычании такая жалоба, такая материнская тоска, что Мария заплакала.

- Бедные вы мои, - сквозь слезы сказала она коровам, - не пожалели вас люди... чего ж теперь делать? То, что случилось, уже никто не поправит... Я за вами буду доглядать. Мы ж одни тут остались живые...

Озираясь, она пошла на хутор. Чем ближе подходила, тем горячее была дорога. Босые ноги Марии ступали по опаленной пожаром земле, но она почти не чувствовала этого, с бьющимся сердцем шла по неширокой улице, всматриваясь в черные руины сожженных домов. Она с детства знала обитателей каждого дома, и ей казалось, что они вот-вот вернуться.

Покажутся там, на вершине холма, на меже кукурузного поля, где она провела страшные ночи и дни, постоят немного, посмотрят на черное пепелище и обязательно придут, чтобы на этой горячей, изуродованной земле, в которой зарыты были их отцы, деды и прадеды, начать новую жизнь. Мария, веря своему ожиданию, даже взглянула на холм, но там не было никого, только желтела неубранная кукуруза...

Вот и крайние дворы. В правом жила одинокая бабка Вера, бездетная вдова, которая так и состарилась в полном одиночестве, а в колхозе работала до последних дней; в левом - большая семья комбайнера Игната Васильевича: его веселая, говорливая жена, теща и пятеро девчонок-подростков. По соседству с бабкой Верой и с Игнатом Васильевичем жили Воиновы и Горюшины... Жили... Были... Теперь не живут, а где они есть - неизвестно. Угнали их всех туда, за холм, и след их пропал. А вместо домов остались только сложенные из дикого камня основы, обрушенные стены да черные печные трубы...

Медленно шла Мария по улице и внезапно вздрогнула от истощающего, рыдающего собачьего воя. Это Дружок узнал сожженное подворье деда

Герасима, остановился, поднял к небу лохматую, остроухую голову и громко, протяжно завыл. Он сидел на горячей земле, смотрел в бесконечную синеву и, вытянув шею, выл, навсегда прощаясь со старым хозяином, с его домом, который, так же, как хозяин, пропал. Этот исчезнувший дом Дружок много лет сторожил с неподкупной верностью и сейчас по-своему, по-собачьи, рыданием своим отпевал то, чем жил...

Потрясенная Мария подошла к собаке, положила ладонь на ее голову.

- Хватит, Дружок, - сказала она, - тут кругом одно горе. Замолчи, прошу тебя! Может, немцы близко. Услышат - убьют и тебя и меня...

Она пошла дальше. Понутив голову, собака шла рядом, а в отдалении за ними следовали коровы, которые боялись снова потерять человека.

Вот и руины бригадного домика и тополь. Тот самый...

Мария остановилась, замерла. Тополь стоял черный, обгорелый, как все кругом. Тонкие ветки его сгорели, и был он похож на обугленный скелет. Никого из повешенных ни на тополе, ни вблизи его не было. Деревянный бригадный домик сгорел дотла. На месте, где он стоял, белела только куча пепла да высилась одна стена.

Прижимаясь щекой к тополю, Мария обняла его неостывший ствол. Долго стояла так, не замечая ни солнца, ни чистой синевы неба. В эти мгновения для нее не существовало ничего на свете, кроме шершавой теплой коры обгоревшего дерева, на котором умерли ее муж и сын. Кому она могла поведать о своем тяжком горе? Кто мог сказать, куда враги дели тела казненных, где их останки? Кто покажет место, где они лежат, и найдет ли она их, чтобы оплакать самых дорогих для нее, самых родных людей, честно, как положено, отнести их на кладбище и предать земле, в которой покоятся отжившие, отработавшие свое предки?

К Марии подошел Дружок, потерся головой об ее колени, просительно поднял на нее светлые, ореховые глаза. Смотрел так, словно хотел сказать: "Пойдем, женщина! Слезами горю не поможешь. Живым надо жить..."

Мария погладила собаку. Низко опустив голову, отошла от тополя. Неподалеку, на дороге, увидела сорванную с бригадного домика жестяную красную вывеску в деревянной рамке. Года полтора тому назад Иван рисовал эту вывеску, старательно выводя на красном поле четкие белые слова: "Третья бригада колхоза имени В. И. Ленина". Сын Васятка стоял тогда рядом, глаз не сводил с отца. Он подносил Ивану банки с краской, линейку, гвозди, мыл в керосине кисти. Был теплый весенний день. В кронах цветущих вишен жужжали пчелы. На крыше залиvisto ворковали Васяткины голуби. Бригада готовилась к первомайскому празднику, все были веселы, радостны. Мария в этот день пекла пироги, убирала в доме. Между делом успела поругать Васятку за то, что он новенькую рубашку измазал краской. После обеда Иван с Васяткой понесли вывеску к бригадному домику, с легким наклоном прибили ее над входной дверью, а над вывеской бригадир дядя Федор укрепил на покрытом серебрянкой древке алый праздничный флаг. Вечером, придя с работы, хуторяне любовались яркой вывеской и флагом, хвалили Ивана, посмеивались над измазанным Васяткой.

Сейчас сорванная с домика вывеска валялась на дороге. Деревянная рама ее была изломана, а по красной жести, вминая ее в землю, прошло тяжелое колесо немецкого грузовика. Рядом с вывеской лежали вилы-тройчатки с почти целым держакон, лишь слегка обожженным с одной стороны. Мария сразу узнала свои вилы и вспомнила, что в тот страшный вечер, когда немцы арестовали и увели Ивана, она оправляла во дворе порушенный соседским теленком стожок сена и, не выпуская вилы из рук, побежала к бригадному домику. Выронила она вилы, когда потеряла сознание, и никто их в тот вечер не подобрал. И еще она вспомнила, как Иван возился с этими вилами: до сини закалял их в бригадной кузне, а потом оттачивал напильником каждый зубец, долго делал вербовый держак с удобным, ладным изгибом.

Марии стало жаль измятую грузовиком вывеску. Она подняла ее, взяла

вилы и пошла по улице на край хутора, где когда-то был ее дом. Возле двора дяди Корнея увидела опрокинутую двуколку, убитого немецкого солдата и мертвую лошадь. Немец был пожилой, толстый, с темной щетиной на одутловатых щеках. У него была разmozжена голова. Огромной, похожей на слона, рыжей лошади осколок снаряда попал в живот. Рядом с двуколкой валялись два десятиведерных солдатских термоса. Алюминиевая крышка одного из термосов свалилась, в нем Мария увидела остатки жидкого кофе. Ей нестерпимо хотелось есть. Она отвинтила крышку второго термоса. В нем было картофельное пюре с крохотными кусочками копченой колбасы.

Выбирая горстями холодное пюре, Мария немного поела, покормила Дружка, который с жадностью накинулся на пищу. Теперь Марию стала мучить жажда. Она выпила глоток горького кофе и быстро пошла к хуторскому колодцу, чтобы напиться самой и напоить собаку и коров. Они не отходили от нее ни на шаг.

Колодец на хуторе был единственный. Он стоял у дороги, между двумя рядами дворов. Его деревянный сруб, окованный обручами, дубовый ворот и железная цепь оказались целыми. Даже ведро стояло на срубе. Мария бросилась к колодцу, заглянула в него и отпрянула. В колодце плавали вздувшиеся трупы собак и кошек. К счастью, в ведре оказалась вода. Мария приникла к ведру, напилась, дала немного полакать собаке. Каждой корове достало по три глотка. Мария с трудом отрывала ведро от их лобастых рыжих голов. Она поняла, что коровы не были у речки, давно не пили. Они требовательно тянулись к ведру, стучали рогами по его днищу.

- Потерпите немного, - сказала Мария, - если все будет тихо, завтра я погоню вас к речке, там напьетесь...

Она оглянулась, посмотрела на то место, где лежали трупы немецкого солдата и лошади. "Надо их закопать, - подумала Мария. - Хотя бы лопату какую найти. Похоронить человека у меня сил еще хватит, а что делать с этим здоровенным мертвым конем, я не знаю. Может, вороны его расклюют".

Настороженно озираясь, она пошла дальше, держа в руках вывеску и вилы. Шла тихо, подавляя страх. Боялась, что вот-вот из-за какой-нибудь разрушенной стены или из-за черной печной трубы выскочит немец с автоматом, выстрелит и убьет ее и вместе с ней нерожденного ребенка. Но вокруг не было ни одной живой души и стояла такая томительная, гнетущая тишина, какая бывает на старом заброшенном кладбище.

Перед глазами Марии было только одно: серый, белесоватый пепел и черная сажа. Пепел и сажа. И резкий запах гари, удушливый запах, вызывающий кашель. "Хотя бы один дом остался целым, хотя бы крыша над головой была, - хлестнула Марию тоскливая мысль. - Куда ж мне деваться на этом пожарище? Скоро холода начнутся, дожди, снег, мороз, а тут ни доски, ни стекла, ни гвоздя. Все порушили, все спалили, звери".

До прихода немцев в каждом хуторском дворе был молодой плодовый сад. Деревья сажали по почину бригадира дяди Федора. Он годами стыдил хуторян за то, что их усадьбы позаросли дерезой, крапивой и лопухами, увещевал, просил, потом плюнул на разговоры, выпросил у председателя колхоза грузовую машину, съездил в дальний питомник, привез шестьсот штук отличных саженцев яблони, груши, сливы и в один день раздал хуторянам за копейки, лишь бы окупить расходы. Каждый владелец двора получил два десятка саженцев. За деревцами хуторяне ухаживали, как за малыми детьми: поливали, подкармливали, опрыскивали, чтобы не завелись вредители, подбеливали стволы. Перед самой войной деревья стали плодоносить. Хутор нельзя было узнать, почти все его дома утонули в пышной зелени садов.

Сейчас Мария шла по улице, и глаза ее застилали слезы. Почти все деревья сгорели. От тех, которые были посажены вблизи домов, остались только черные палки, кое-где подальше обгоревшие яблони, груши и сливы еще слабо дымились, и лишь на самых дальних концах дворов щемяще-грустно зеленели слегка опаленные пламенем листья одиноких вишен.

Мария свернула вправо, пошла по дворам, думая, что, может, где-нибудь найдет яблоки-падалицы. Идти можно было, куда хочешь. Ни заборов, ни калиток не осталось нигде, все сгорело. Земля во дворах была горячее, чем на дороге, не успела еще остыть от пожара. На усадьбе у своей двоюродной сестры Фроси, возле грядки с невыкопанным луком, Мария нашла цинковое ведро, лопату и грабли. Видно, в тот злосчастный вечер Фрося возилась на огороде и все оставила. Она прожила с мужем Лукьяном девять лет, но детей у них не было. На второй год войны получила извещение, что Лукьян пропал без вести. "Теперь нет ни Лукьяна, ни Фроси, - подумала Мария, - все пошло прахом: и деревья и люди..."

Не найдя яблок, Мария вернулась на дорогу, побрела к тому месту на краю хутора, где еще совсем недавно, несколько дней тому назад, стоял ее дом. Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она с трудом подавляла в себе желание повернуться и бежать без оглядки, бежать куда-нибудь, чтоб только не видеть этого гиблого пепелища, мертвых деревьев, чтобы хоть на краю света спрятаться от своей горькой судьбы. Но уставшие ноги сами влекли ее туда, где она познала недолгое счастье, любовь мужа, рождение сына, все то доброе, что дается человеку только однажды в жизни и никогда не повторяется.

Вот и два до боли знакомых железных угольника, на которых Иван когда-то укрепил калитку. Остались только эти покрытые окалиной угольники да вымощенная битым кирпичом узкая дорожка, проложенная от калитки к крыльцу. Теперь эта дорожка вела в никуда, заканчивалась черной пустотой, и Марии показалось, что черным стало все вокруг: и небо, и поля, и вершины холмов. Она упала и, содрогаясь от мучительных рыданий, уже ничего не страшась, забыв обо всем, заголосила, царапая израненными пальцами горячую землю...

Над головой Марии протяжно завыл Дружок. Его нутряной, хрипый вой то утихал, переходил в едва слышный плач, то повышался, устремляясь в

немыслимую высоту, бился в зверином рыдании, отпевая ушедших людей, мертвый хутор, и, вновь затихая, эхом замирал где-то за вершиной холма...

Услышав вой собаки, Мария опаматовалась. Ее обожгла пугающая догадка: а вдруг среди этих черных руин враги услышат человеческий голос? Что тогда будет? Она поднялась, вошла, глотая слезы, во двор. Опираясь на вилы и придерживая левой рукой вывеску, постояла возле обнажившегося, сложенного из дикого камня фундамента сгоревшего дома. Какая-то чужая, сторонняя, мелькнула у нее мысль: тут была кухня, тут залик, а там спальня... Васятка спал в залике, на диване... в этом углу, на табурете, стоял цветок в кадучке, материнский фикус... в простенке, между окнами, шкафчик с посудой, а на той стене, в рамке, увеличенная фотография отца...

Она стояла, опустив голову. На мгновение ей снова показалось, что она спит и видит кошмарный сон, что вот-вот ее кто-то разбудит и перед ней заголубеют чистые стены родного дома, и окрашенные чуть подсиненными белилами резные наличники на окнах, и крыльцо, на котором, как всегда, лежит искусно сплетенный из тонкой проволоки половичок... Но мычание коров, тихое повизгивание собаки и - самое главное - удушающий запах гари и дыма вернули Марию к тому, что произошло на хуторе, и она, подавляя крик отчаяния, поняла, что пепелище, и сожженные дома, и смерть мужа и сына, и могила Сани на кукурузном поле, и трупы немца и рыжей лошади на хуторской улице - это и есть то, от чего никуда не уйдешь.

Мария сквозь слезы осмотрела двор и вспомнила: погреб! Там она сможет укрыться от дождя и снега, от зимних холодов, от вражеских пуль и снарядов, там, в этом погребе, можно жить...

Погреб Иван с Марией вырыли невдалеке от дома незадолго перед войной. Сделали его глубоким, просторным, стены и пол выровняли по отвесу, обмазали глиной с конским навозом. В одной из стен Иван вырыл тоннель

для зимнего хранения картофеля. В ту осень третья бригада заканчивала постройку колхозного коровника, и дядя Федор разрешил Ивану взять десяток бетонных балок-обломков, выбракованных при постройке. Иван долго выравнивал их, обрубая зубилом, уложил на погреб. Получился крепкий потолочный настил, на который позже насыпали слой глинистой земли чуть ли не метровой высоты. Землю уложили покатым холмом, плотно утрамбовали. В земляную крышу вмазали кусок чугунной трубы с задвижкой-отдушником, чтобы в погребе не держался и не портил овощи дурной, застойный дух.

Рядом с погребом росла старая дедовская яблоня. Летом тень ее пышной кроны защищала погреб от жары, в нем в самые знойные июльские дни было прохладно. Под яблоней покойный отец Ивана с помощью хуторян когда-то давно уложил плоский дикий камень. Сидя на камне, он чинил конскую упряжь, плотничал, а то и отдыхал, задремывая в тени.

Мария решила: "Буду жить в погребе, он не мог сгореть..."

Она подошла ближе. Вывеску прислонила к стволу яблони. Погреб был цел, даже деревянная крышка его лаза не сгорела. Мария протянула руку, чтобы поднять тяжелую крышку, но ее испугало поведение собаки. Дружок завертелся вокруг погреба, принюхиваясь к земле, потом остановился. Шерсть на его спине встала дыбом. Оскалив острые клыки, он угрожающе заворчал.

Сжимая в руке вилы, Мария откинула крышку лаза и отпрянула. На земляном полу погреба, прислонившись к низкой кадучке, сидел живой немецкий солдат. Он не мигая смотрел на нее... Мария успела заметить, что немец был бледный, изможденный, с тонкой мальчишеской шеей и что он был ранен: серый его китель был расстегнут, а на застиранной ночной сорочке багровело пятно крови. В какое-то неуловимое мгновение Мария заметила, что немец испугался ее, и поняла, что он безоружен.

Наклонившись над лазом, она молча смотрела на немца. Он не спускал с нее светло-голубых, расширенных от ужаса глаз. Губы его дрожали,

кривились в каком-то жалком подобии улыбки, но, скованный страхом, он не произносил ни одного слова. На вид ему было не больше семнадцати лет. И слипшиеся на потной лбу кудрявые белокурые волосы, и худые грязные кисти бессильно раскинутых рук, и тонкая белая шея, и белесый, никогда не знавший бритвы пушок на щеках и над верхней губой - все выдавало в раненом немце мальчишку, желторотого, лопухого, объятого ужасом недоростка.

Ненависть и горячая, слепая злоба захлестнули Марию, сдавили сердце, тошнотой прихлынули к горлу. Алый туман застилал ей глаза, и в этом негустом тумане она увидела безмолвную толпу хуторян, и раскачивающегося на тополеветке Ивана, и босые ноги повисшей на тополе Фени, и черную удавку на детской шее Васятки, и их палачей-фашистов, одетых в серые мундиры с черной лентой на рукавах. Теперь здесь, в ее, Мариином, погребке, лежал один из них, полураздавленный, недобитый гаденыш, одетый в такой же серый мундир, с такой же черной лентой на рукаве, на которой серебрились такие же чужие, непонятные, крючковатые буквы.

Мария еще ниже склонилась над лазом. Держак остро отточенных вил сжала так, что побелели пальцы. Хрипло сказала, не слыша собственного голоса:

- Чего будем делать? Скажи мне одно: где мой муж Ваня и сыночек Васенька? И еще скажи мне: за что удавили Феню и девочку Саню за что убили? Молчишь? Молчи, молчи...

Она повернулась, спустила ноги в лаз, постояла на первой ступеньке пологой погребной лестницы... Постояла на второй, глаз не сводя с немца и сжимая в руках вилы...

- Молчишь? - повторила она. - Ничего не знаешь и сказать ничего не можешь? И кто людей в неволю погнал - не знаешь... И кто хутор спалил, а скотину перестрелял - не знаешь... Бреешь, подлюка... Ты все знаешь и за все сейчас ответишь...

Медленно опускалась она в погреб, останавливаясь на каждой ступеньке, и каждая ступенька - Мария помнила: их было девять - приближала ее к тому неотвратимому, что она должна была совершить во имя высшей справедливости, которая сейчас в ее горячем сознании укладывалась в знакомые с детства слова: "Смертию смерть поправ"... И хотя она по-своему толковала эти когда-то услышанные от старой бабки слова, ей казалось, что именно они властно требуют: убей убийцу...

Вот и последняя ступенька. Мария остановилась. Сделала еще шаг вперед. Мальчишка-немец шевельнулся. Он хотел отодвинуться, втиснуться в угол, уползти в темноту, за кадушку, но обмякшее, бессильное тело не слушалось его. Уже в то мгновение, когда голова Марии показалась в открытом люке погреба, он по выражению ее лица почувствовал, что его ожидает смерть. Смерть подходила к нему, и он смотрел на нее, невысокую женщину с карими глазами, с крепкими ступнями босых маленьких ног. Она была еле прикрыта пожухлыми от крови лохмотьями, в руках держала вилы, и три острия карающих вил с каждой секундой приближали его конец.

Мария высоко подняла вилы, слегка отвернулась, чтобы не видеть то страшное, что должна была сделать, и в это мгновение услышала тихий, сдавленный крик, который показался ей громом:

- Мама! Ма-а-ма!..

Слабый крик множеством раскаленных ножей впился в грудь Марии, пронзил ее сердце, а короткое слово "мама" заставило содрогнуться от нестерпимой боли. Мария выронила вилы, ноги ее подкосились. Она упала на колени и, прежде чем потерять сознание, близко-близко увидела светло-голубые, мокрые от слез мальчишеские глаза...

Очнулась она от прикосновения влажных рук раненого. Захлебываясь от рыданий, он гладил ее ладонь и говорил что-то на своем языке, которого Мария не знала. Но по выражению его лица, по движению пальцев она поняла, что немец говорит о себе: о том, что он никого не убивал, что

его мать такая же, как Мария, крестьянка, а отец недавно погиб под городом Смоленском, что он сам, едва окончив школу, был мобилизован и отправлен на фронт, что ни в одном бою он ни разу не был, только подвозил солдатам пищу. И еще Мария поняла, что три дня назад он вместе с пожилым немцем, тем самым, труп которого лежал на улице, ехал на двуколке, что летевший над ними самолет сбросил бомбу, что его старший товарищ и лошадь были убиты, а он, раненный в грудь, уполз и спрятался в погребе...

Мария молча плакала. Смерть мужа и сына, угон хуторян и гибель хутора, мученические дни и ночи на кукурузном поле - все, что она пережила в тяжком своем одиночестве, надломило ее, и ей хотелось выплакать свое горе, рассказать о нем живому человеку, первому, кого она встретила за все последние дни. И хотя этот человек был одет в серую, ненавистную форму врага, но он был тяжело ранен, к тому же оказался совсем мальчишкой и - видно по всему - не мог быть убийцей. И Мария ужаснулась тому, что еще несколько минут назад, держа в руках острые вилы и слепо подчиняясь охватившему ее чувству злобы и мести, могла сама убить его. Ведь только святое, жалостное слово "мама", та мольба, которую вложил этот несчастный мальчик в свой тихий, захлебывающийся крик, спасли его.

Осторожным прикосновением пальцев Мария расстегнула окровавленную сорочку немца, слегка надорвала ее, обнажила узкую грудь. На груди, с правой стороны, увидела две продолговатые раны, затянутые запекшейся кровью. Так же осторожно стащила мундир, повернула раненого на бок, осмотрела спину. На спине была только одна рана, и Мария поняла, что второй осколок бомбы не вышел. засел где-то в груди.

Сдерживая стоны, немец молча следил за склонившейся над ним женщиной, потом крестом сложил над грудью указательные пальцы, спросил тихо:

- Капут?

- Зачем капут? - отводя глаза, сказала Мария. - Будешь жить...

Сложив руку так, словно держала в ней стакан, и поднеся ее ко рту, спросила:

- Ты, небось, пить хочешь?

Немец закивал головой.

- Подожди, - сказала Мария, - я подою корову, напою тебя молоком.

Воды на хуторе нет.

В темном углу погреба она отыскала глиняную миску, движением пальцев показала: пойду доить коров. Вылезла из погреба. Дружок и коровы ждали ее под яблоней. Зажав миску в коленях, Мария подоила одну корову, другую. Подумала о немце: "Не выживет он, помрет, и я его не спасу". И еще подумала, что ей будет жаль мальчишку, что она опять останется одна и ей не с кем будет слова молвить. А тут, хоть и не знает она немецкого языка, а умирающий немец знает только одно русское слово "мама", с ним можно разговаривать так, как это делают глухонемые: пальцами, головой, глазами. Ведь поняла она его, когда он с помощью жестов говорил ей о своей матери, об отце, о том, что они занимались крестьянским трудом, о том, что он сам не был в боях и никого не убивал...

Бережно неся миску с молоком, Мария спустилась в погреб. Присела рядом с немцем на корточки и, поддерживая рукой его горячий затылок, напоила молоком. Не выпуская ее руку, раненый всхлипнул, закрыл глаза и стал засыпать. Мария не хотела беспокоить его и долго сидела, всматриваясь в бледное лицо спящего. Тень рыжеватых ресниц под глазами еще больше подчеркивала восковую бледность его лица, чуть припухшие, бескровные губы вздрагивали.

"Не жилец ты на белом свете, - с болью и жалостью думала Мария, - и протянешь ты недолго. И кто ты есть в этом светопредставлении? Никому не нужная, неприметная, малая порошок... Разве тебе нужна была война и ты хотел воевать? Должно быть, нет. Должно быть, ты сказал правду, и я тебе

верю... Ты ж не знал ни нашей земли, ни этого хутора, ни меня. Жил себе в своей Германии, трудился с отцом и матерью в поле. В школу ходил, и двойки, небось, получал, и в рваных штаненках до дому являлся, в точности, как мой Васятка... Потом тебя взяли, захали в мясорубку, и на этом кончилась твоя куцая жизнь, которую ты так и не узнал... И помрешь ты, бедняга, в нашем хуторе, и мне доведется тебя схоронить... А там, в Германии, годами будет слезы лить, выплакивать свое горе твоя осиротевшая, потерявшая сына мать. И никто ей не скажет, и никогда она не узнает, кому нужна была твоя смерть на чужой земле..."

Тихонько освободив руку из рук немца, Мария поднялась и, стараясь не стучать, чтобы не разбудить спящего, стала убирать в погребе: вынесла наверх старую кадку, разную ненужную ветошь, сплетенную из вербовой лозы полусгнившую корзину. Она вспомнила, что на лугу, возле лесной опушки, должны стоять копешки не свезенного хуторянами сена. Решила сходить туда, принести охапку сена и постелить умирающему немцу. Шла боязливо, настороженно, чтобы не нарваться на немецких солдат.

Вокруг ничто не нарушало тишины. Фронт уже откатился далеко на восток, но Мария не знала этого и потому остерегалась. Солнце клонилось к закату, был тихий, безветренный день. Дойдя до самой опушки, Мария увидела, что копны целые. Присела у одной из них отдохнуть и заметила на ближней лесной поляне земляной, присыпанный листвой бугор, которого раньше не было. Озираясь, пошла туда, к незнакомому бугру. Это оказался пустой немецкий блиндаж. Мария сошла вниз, осмотрелась в полумраке. В темном углу блиндажа она нашла застиранные марлевые бинты, два солдатских котелка. Заглянула под низкие, сколоченные из нестроганных досок нары. Там лежали осколки зеркала и обшитая сукном фляга с пластмассовой пробкой-стаканчиком. Мария подобрала все это и решила прийти сюда еще раз, чтобы разобрать нары и унести с собой доски.

Неподалеку она увидела второй такой же блиндаж. Возле него нашла

воткнутой в дерево плоский штык-тесак, прихватила и его. "Мне теперь все сойдется, - подумала Мария, - у меня ни кола ни двора". Обрывок телефонного провода, моток проволоки, коричневые, заскорузлые от пота носки, полуисписанный блокнот с огрызком карандаша, круглый, залитый стеарином походный светильник, мыльница с куском розового мыла - все это Мария рассовала в котелки, взяла с мыслью: "Сгодится и это".

Но больше всего ее обрадовала добротная сделанная чугунная печурка в углу покинутого немцами блиндажа. Небольшая, аккуратная, с разборной трубой и конфоркой, с дверцами и поддувалом, она показалась ей нужнее всего. Наступал октябрь с обычными холодами, распутицей, и печка была для Марии спасением. "Сегодня же заберу печку", - решила она.

Увязав проволокой охапку сена и навесив на себя флягу, котелки и все, что нашла в блиндажах, Мария пошла на хутор. Немец уже не спал, он встретил ее слабой улыбкой, коснулся пальцем своего лба, указал на Марию, на вход в погреб и прощально замахал рукой.

Мария поняла. Он хотел сказать:

- Я думал, что ты покинула меня, ушла совсем.

Она отрицательно качнула головой:

- Зачем же? Сена вот принесла, постель тебе постелю, чтоб мягче было лежать. Да и для себя кое-что нашла, к зиме готовиться надо, иначе пропадешь.

Быстро и ловко она расстелила сено, разровняла его, передвинула раненого, подложила ему под голову затвердевший от крови серый мундир.

Сказала, разъясняя руками значение своих слов:

- Полежи немного один, а я схожу в лес, печку принесу. Без печки мне никак нельзя. Там, где были солдаты, уже никого нет, ни ваших, ни наших. И не стреляют нигде - видно, далеко ушли...

Печка и труба оказались нелегкими. Возвращаясь, Мария часто отдыхала на положенной набок печке. Кинув на колени усталые руки, смотрела на

розовевшую неподалеку речку, на заречную долину, по которой убегали вдаль едва заметные проселочные дороги. Ей хорошо были видны извилистые линии опустевших окопов, и темные брустверы, которые не успели зарости травой, и подбитый танк за желтоватой кромкой камышей, и - чуть дальше - два грузовика, один из них был повален набок, а другой стоял рядом, словно молчаливый сторож. И все поле недавнего боя с черными воронками от бомб и снарядов, с набитыми тропами, с бурыми холмиками покинутых дзотов было безлюдным, странно-тихим, словно и не было на нем лихорадочной пляски пулеметного огня, разрывов тяжелых снарядов, криков и предсмертного хрипения умиравших солдат...

Тоска сжала сердце Марии. На изуродованной войной земле, казалось, совсем недавно зеленели иные поля: ровные посевы озимой пшеницы, ржи и ячменя, хуторские огороды, поросшие пыреем пастбища. Из года в год, так же как все хуторяне, Мария переходила вброд мелевшую к осени речку, сажала и поливала на огородах помидоры, огурцы, капусту, в первые колхозные годы, шагая следом за косилкой-лобогрейкой, вязала снопы, выпалывала на полях сорняки, пасла свиней и коров, а позже, перед самой войной, помогала вывозить из-под комбайна зерно, то есть выполняла ту непрерывную, трудную работу, которую выполняли все колхозники-хуторяне. И хотя тогда эта изнурительная работа казалась ей тяжелой, теперь она вспомнила, каким мирным и ясным было над полями небо, и как в тополях над речкой утренними и вечерними зорями пели соловьи, и как щемяще-сладко было вернуться с поля домой, затопить во дворе сложенный Иваном чисто выбеленный очажок, разогреть ужин, незлобиво поругать неугомонного Васятку и, дождавшись наморенного, темного от загара и пыли Ивана, сесть ужинать за низким, врытым в землю столиком.

Ни Ивана, ни Васятки, ни полей, ни соловьев, ни дома, ни родного очага больше не было. Оставались только неостывшее пожарище, темный погреб, а в погребе - тяжело раненный, умирающий мальчишка, враг,

которого так и не дождется на дальней, неведомой Марии земле неведомая мать...

Придя на хутор, Мария увидела, что все четыре коровы лежат неподалеку от погреба. Сидевший возле них Дружок встретил ее, как хозяйку, ласковым повизгиванием, завертелся, завилял хвостом. Она опустила тяжелую печку на землю. Осторожно ступая, спустилась в погреб. В серой полутьме огляделась. По дыханию раненого поняла, что немец спит. Мария вздохнула, прилегла рядом, подмачивая сено так, чтобы не касаться немца. "Пускай спит, - устало подумала она. - Завтра надо будет закопать того, мертвого, который на улице лежит".

Обессиленная Мария уснула мгновенно. Во сне она видела покойных отца и мать. Будто они вели ее куда-то за руки, молодые, красивые, и ей было весело, а кругом шумела, пестро сверкала ярмарка: вертелись круглые карусели, играла музыка, в ларьках всеми цветами радуги переливались монеты, под стеклом маняще розовели сладкие пряники и длинные конфеты, обернутые красной бумагой с пышными махровыми концами. Маленькая девочка Мария попросила отца купить ей красную конфету, и отец, звеня медяками, выбрал на прилавке и протянул ей самую большую. Он сказал: "Бери, доченька, кушай". Мария взяла конфету и содрогнулась от ужаса: это была не конфета, а чья-то горячая, липкая, окровавленная рука...

Она застонала, всхлипнула во сне и не почувствовала, что к ее руке прижался умирающий мальчишка-немец и, захлебываясь от слез, давясь серой смертной тоской, беззвучно шептал:

- Мама... мама.

На рассвете, заметив, что Мария проснулась, немец слабо улыбнулся, вздохнул, медленно постучал по своей груди согнутым указательным пальцем и несколько раз хрипло прошептал:

- Вернер Брахт... Вернер Брахт...

Потом он сложил пальцы крестом и сделал вид, что пишет на

воображаемом могильном кресте свое имя.

- Вернер Брахт, - повторил немец, - Вернер Брахт...

- Вернер, говоришь? - спросила Мария.

- Вернер Брахт, - тихо сказал раненый.

Мария печально посмотрела на бледное лицо немца, на бескровные его губы.

- Вернер, значит, тебя зовут, - сказала она задумчиво. - Эх ты,

Вернер, Вернер! Разве тебе нужна была война? И думал ли ты, бедняга, что помрешь на нашем хуторе, у которого даже имени никакого нет, а было только одно название: третья бригада колхоза имени Ленина. А теперь уже и названия нету.

- Ленин? - переспросил немец.

- Ну да, Ленин, - сказала Мария.

- Ленин карашо, Гитлер плохо, - сказал немец.

- То-то, хорошо, - с жестким упреком сказала Мария. - Теперь, когда смерть пришла, Ленин стал хорошим, а Гитлер плохим? Так, что ли? Чего ж ты раньше думал? Тоже, небось, вешал и грабил людей, поджигал хутора?

Немец по голосу Марии, по ее глазам понял, что сидевшая рядом с ним женщина упрекает его в чем-то очень злом, и, отрицательно качнув головой, стал говорить, что он и его родители не хотели войны, что отца его гестаповцы дважды сажали в тюрьму и дважды зверски пытали, что его старший брат убит под Смоленском и что у брата остались трое малых детей.

Вслушиваясь в чужую, непонятную речь, Мария пыталась разобраться, о чем так горячо говорит раненый мальчишка, почему так смотрит на нее покрасневшими от слез глазами, но ничего не поняла и махнула рукой:

- Ладно! Чего теперь с тебя возьмешь? Полежи малость, подожди, а я пойду подою коров, молока тебе принесу. Может, еще и выхожу тебя, беднягу, и ты разберешь, где правда, а где неправда.

Взяв котелок, Мария вышла из погреба. Занималась заря. Коровы спокойно лежали рядом, пережевывая жвачку. Дружок выбежал из-за яблони. За ним, робко повиливая хвостом, шла белая щенная сука с тяжело опущенным животом и набухшими сосками. Мария узнала суку. Ее звали Дамкой, а принадлежала она казненной немцами Фене.

- Иди сюда, Дамка! - сказала Мария. - Иди ко мне, собачка! Жива, значит, осталась? Ну так что ж? Оставайся с нами, место тебе найдется.

Подставив котелок, она подоила коров, спустилась в погреб. Слегка приподняла голову раненого немца, сказала тихо:

- Попей молока.

Немец нехотя сделал два глотка, повторил:

- Вернер Брахт.

- Ну хорошо, я запомню твое имя, - сказала Мария. - Ты побудь тут один, а мне надо пойти напарника твоего похоронить и с конем убитым что-то сделать. Они там на улице лежат.

Вернер Брахт понял, что ей надо уйти по каким-то делам и что она вернется.

- Лежи, я приду, - сказала Мария.

Взошло солнце. На черном пепелище лишь кое-где курились редкие розовые дымки. Мертвый немец уже покрылся лиловыми пятнами, небритые щеки его вздулись, над полуоткрытым ртом кружились мухи. Мария нагнулась, обыскала карманы убитого, нашла несколько истертых по краям сложенных вчетверо писем, изгрызанный мундштук и начатую пачку сигарет. Посмотрела на сапоги. Они были целые, почти неношенные, с широкими твердыми голенищами.

"Обувка тебе уже ни к чему, - подумала Мария, - а мне сгодится, я по вашей милости босая осталась перед самой зимой". Она попробовала стащить сапоги, но у нее ничего не получилось. Труп давно одеревенел, застыл, и ступни мертвого не разгибались. Мария вернулась "домой" - так она теперь

думала о погребке, - взяла острый тесак, а Вернеру Брахту отдала найденные в кармане мертвого письма.

- Читай пока, - сказала она немцу, - все ж он тебе товарищем был, да и язык германский ты понимаешь. Читай, не так нудно будет лежать...

Несмотря на то, что вокруг стояла ничем не потревоженная тишина и рядом не было ничего живого, кроме двух собак, которые легкой рысцой трусили следом за Марией, по улице она шла быстро, непрерывно оглядываясь, боясь, что кто-нибудь накинется на нее сзади, сдавит горло руками или выстрелит откуда-нибудь издалека. Липкий, томительный, тошнотворный страх одолевал Марию, и она почти забыла, что еще два-три дня тому назад сама просила у бога смерти и готова была руки на себя наложить. Но даже в те самые страшные дни, когда на ее глазах были повешены муж и сын и там, на кукурузном поле, умерла Саня, нерожденное, живущее в ней дитя вначале слабо, а потом все сильнее напоминало о себе, требовало жизни. Теперь, когда Мария в сожженном своем дворе обрела спрятанный от людских глаз закуток и стала работать, добывая все, что согдится к зиме, смутный и властный зов того, кто еще не был рожден, заполнил Марию, и она стала бояться смерти.

Присев на корточки над мертвым немцем, она острием тесака распоролла швы на голенищах его сапог, легко стащила их, мельком взглянула на коричневые, с дырами на пятках носки убитого, обвязала труп мягкой пережженной проволокой и, часто останавливаясь, тяжело дыша, потащила его к темневшей неподалеку воронке. У края воронки постояла, освободила труп от проволоки и подтолкнула вниз. Лежавший поперек крутого склона воронки мертвый скатился легко и на дне улегся лицом вниз.

- Негоже так тебе лежать, - сказала Мария, - ты ведь человек, и дети, должно быть, не раз по тебе заплачут...

Подумав, Мария пошла вдоль улицы, прихватила на Фенином огороде лопату, сорвала большой лист лопуха, осторожно сползла в воронку,

повернула мертвого лицом вверх, накрыла лицо лопухом и стала зарывать. Земля на склонах воронки была мягкая, податливая, но Мария устала, шея ее покрылась капельками пота, обрывки платья взмокли на спине и под мышками. Зарывала она долго, старательно, как положено зарывать покойников на кладбище.

- Ну вот, - проговорила Мария, вытирая потный лоб, - спи спокойно.

Теперь ни голодные собаки, ни звери тебя не достанут...

Собаки - Дружок и Дамка - лежали у края воронки, внимательно смотрели на Марию. "А собаки вправду голодные, - подумала она, - разве их молоком насытишь? Придется, видно, убитого коня им скормить". Она вспомнила, что во дворе взорванной фермы постоянно высилась гора слежавшейся, затвердевшей соли, которую колхозные чабаны откалывали ломами и увозили на тырла, чтобы овцы могли посолоновать. Да и сама Мария не раз брала оттуда соль для коров и телят.

Она пошла на ферму. Соль оказалась целой, только покрылась толстым слоем пепла и рыжей кирпичной пыли. Весь день Мария провозилась с убитым немецким конем. С трудом освободила его от упряжи. Неумело сняла с коня кожу. Тесаком порезала на куски еще совсем свежее мясо, вычистила двуколку, в которую был запряжен конь, и уложила в нее мясо, густо пересыпав его солью. Двуколку оттащила в тень уцелевшей стены бригадного домика, сходила на кукурузное поле, нарезала бодыльев, аккуратно прикрыла мясо, а бодылья придавила черными от сажи кирпичами.

Скелет убитого коня остался среди улицы. Дружок и Дамка, ворча и облизываясь, обирали с костей остатки мяса.

Несколько раз Мария проведывала Вернера Брахта. Раненый немец спал, раскинув руки. Дышал он неровно, хрипло и тяжело, вздрагивал во сне. Пристально вглядываясь в его пожелтевшие ногти с темной каймой грязи, еще больше оттенявшей странную, неживую желтизну ногтей, Мария подумала: "Нет, парень, не жилец ты на белом свете".

Она посидела на камне возле погребка. Стояло нежаркое осеннее предвечерье. От речки по знакомой им тропке гуськом возвращались коровы. Наевшись конского мяса, у ног Марии дремали собаки. В чистой синеве неба кружились голуби. Они появились из-за горизонта, снизились и стали облетать черное пожарище: то приближались к земле, то испуганно взмывали вверх, не узнавая знакомых мест, где уже не было ни шиферных крыш на домиках, ни самих домиков, ни родной голубятни, на которой так сладко отдыхалось после полета в степь.

Мария узнала голубей... Их три года тому назад завел Степка, сын хромого дяди Корнея. Степка был ровесником покойной Сани, но в отличие от нее учился плохо, и дядя Корней долго не позволял ему купить голубей, но потом, когда Степкины дела в школе поправились, позволил. Степка добыл в райцентре прекрасных краснокрылых вертунов, которыми любовался весь хутор. На заре они будили хуторян звонким воркованьем, ходили, горделиво волоча по земле опущенные крылья, а когда, поднятые в воздух своим подростком-хозяином, взлетали и начинали в ясном небе головокружительные виражи, даже старики останавливались и подолгу стояли, подняв головы и одобрительно причмокивая... Две пары голубей Степка подарил Васятке.

Голуби все кружились над пожарищем, снижаясь там, где еще совсем недавно стояла их голубятня, вновь уходили от гиблого черного места и вновь возвращались, ища утраченное свое пристанище.

Вдруг старый красный голубь с белой звездочкой над коротким клювом круто снизился и, напугав Марию хлопаньем крыльев, сел ей на колени, завертелся и, надув прекрасную, отливающую перламутром шею, стал ворковать, призывая свою стаю. И вся стая опустилась у ног Марии, доверчиво окружила ее, воркуя и просительно встряхивая крыльями.

Но щекам Марии потекли непрошеные слезы.

- Сиротиночки мои бедные, - ласково зашептала она, - некуда вам

приклонить свои головочки, некому пожалиться на свое сиротство. И зимы вы боитесь холодной, и глубокого снега, и бескормицы, и без человека не можете жить. Ничего, потерпите. Наломая я вам кукурузных початков, а зерен кукурузы натру на камнях, и будет вам корм на всю зиму...

С того часа голубиная стая, доверившись единственному живому человеку, ночевала на полусожженной яблоне, каждое утро окружала Марию, дожидаясь размолотых меж двух диких камней кукурузных зерен, днем улетала в степь, кормилась, пока не пошел снег, на несжатых полях яровой пшеницы, а к вечеру возвращалась к Марии. Голуби садились ей на плечи, на голову, не пугались, когда она брала их в руки и подносила к лицу. заглядывая в янтарные голубиные глаза и целуя короткие крепкие клювики...

На другой день Мария решила вычистить заваленный трупами убитых животных хуторской колодец. Вода в речке пахла болотной тиной и для питья не годилась. Долго думая над тем, как вытащить из колодца тяжелых собак, Мария вспомнила, что одну из четырех уцелевших коров, старую Зорьку, ее угнанная немцами хозяйка-вдова Дарья Ивановна перед самой войной приучила к упряжи и возила на ней и солому, и хворост, и траву, которую выкашивала по кюветам колхозных дорог.

Для Зорьки пригодилась упряжь, снятая Марией с убитого немецкого коня. Пришлось немало повозиться с упряжью, она для малорослой Зорьки оказалась большой. С помощью проволоки Мария укоротила шлею и постромки, вместо валька приспособила под постромки держак от лопаты, запрягла корову и начала трудную, грязную работу. Немецкие каратели бросали в колодец все, что застрелили на хуторской улице: собак, кошек, кур. Мария полезла в колодец, каждый труп завязывала проволокой, из колодца кричала смиренной корове:

- Ге-ей, Зоренька! Давай, пошли!

Послушная Зорька, натянув постромки, двигалась потихоньку. Широко

расставив босые ноги и упираясь в выступы сруба, Мария подталкивала очередной труп снизу, сваливала его на землю, развязывала и вновь лезла в колодец. Боясь, что вода заражена. Мария, управившись с трупами, вычерпала из неглубокого колодца всю воду. Вычистила песчаное дно. на котором набралось много ила и всякой дряни: давно оброненных ржавых ведер, кружек, утопленных детворой консервных коробок, бутылок. Из колодца вылезла мокрая, вся в грязи, серая от знобящего холода. Побежала к речке, сняла с себя грязные обрывки платья, быстро искупалась и решила пройти вдоль покинутых советскими солдатами окопов, которые извилистой линией брустверов чернели за речкой.

Она шла голая, распустив длинные мокрые волосы, осторожно переступая босыми ногами через брошенные в окопах винтовки, патронные ящики, мотки колючей проволоки, шла, со страхом и жалостью думая о тех, кто еще совсем недавно умирал здесь, в этих поспешно открытых людьми темных, сырых ямах. Под ногами ее белели обрывки бумаги, растоптанные письма - последние слова. присланные солдатам их семьями, темнело маслянистое тряпье, в нишах посверкивали оставленные бойцами патроны.

На изгибе длинного окопа Мария едва не упала, споткнувшись о скатанную, затвердевшую от крови шинель. Видимо, кто-то тяжело раненный в голову лежал на ней, истекая кровью, потом его унесли, а шинель осталась. Мария стала разворачивать скатку, но кровь застыла, слиплась, и жесткое, плотно скатанное сукно надо было раздирать с силой.

Шинель нужна была Марии. От ее платья ничего не осталось. Часто оглядываясь, словно за ней мог кто-то гнаться, Мария побежала к реке, положила шинель в воду. крупным песком оттерла ее от крови, с трудом отжала и пошла домой. На соседской усадьбе нашла тлеющие угли, подбросила на них сухого хвороста, бурьяна, раздула костер и стала греться, держа в руках отяжелевшую мокрую шинель.

Но привычке подоила коров, накормила собак, отнесла в котелке молоко

Вернеру Брахту. По всему было видно, что состояние немца ухудшилось. Он посмотрел на Марию воспаленными глазами, облизал сухие губы, парное молоко только слегка пригубил. Руки у него были влажные и горячие.

- Что мне с тобой делать? - качая головой, спросила Мария. - Как тебе помочь? Где я найду доктора, когда кругом только смерть и разорение?

Вернер Брахт молчал и слабо, страдальчески улыбался. Боясь, что он умрет ночью, в полной темноте, Мария растопила на костре немного конского жира, свернула из тряпки тонкий фитилек, засветила светильник, поставила его в углу погреба.

Трепетный огонек еле освещал изможденное мальчишеское лицо немца. Он долго смотрел на огонек немигающими глазами, потом протянул к Марии руки и сказал, как в первую минуту их встречи:

- Мама! Мама!

И Мария поняла, не могла не понять, что она - последний человек, которого обреченный на смерть немец видит в своей жизни, что в эти горькие и торжественные часы его прощания с жизнью в ней, в Марии, заключено все. что еще связывает его с людьми, - мать, отец, небо, солнце, родная немецкая земля, деревья, цветы, весь огромный и прекрасный мир, который медленно уходит из сознания умирающего. И его протянутые к ней худые, грязные руки и полный мольбы и отчаяния угасающий взгляд - Мария и это поняла - выражают надежду, что она в силах отстоять его уходящую жизнь, отогнать смерть...

И все, что пережила Мария в эти страшные дни, все потерн и горе сдавили ей сердце, прорвались хриплым рыданием. Она уронила голову на руки Вернера Брахта, влажные космы ее нечесаных волос закрыли лицо умирающего, и она запричитала, будто сама прощалась с жизнью:

- Сыночек мой, Васенька! Песчиночка моя бедная! Не уходи от меня, поживи хоть немножечко... не бросай меня одну...

В лихорадочных ее мыслях уже слились воедино и казненный немцами сын,

и умирающий мальчишка-немец, и Иван, и Феня, и застреленная Саня, и все смерти, которые довелось ей увидеть в короткие, полные ужаса и крови дни, и она, припадая к горячим рукам и заплаканному лицу Вернера Брахта, билась в иступленном рыдании, а он слабеющим движением рук гладил ее жесткие, натруженные руки и тихо шептал:

- Мама... мама...

Перед рассветом Вернер Брахт потерял сознание. Из его обнаженной, стянутой перевязкой груди вырывалось неровное, клопочущее дыхание, губы вздрагивали, а широко открытые, устремленные на огонек светильника глаза уже ничего не выражали - ни боли, ни страдания, только ту странную и таинственную отчужденность от всего, которая приходит к человеку вместе с последней, никому не видимой чертой, отделяющей жизнь от смерти.

Обхватив руками колени, Мария неподвижно сидела у изголовья Вернера Брахта, не выпуская из рук его холодеющие руки. Заметив в щели неплотно закрытого люка, что взошло солнце, она осторожно поднялась, погасила светильник, открыла люк. Свежий, прохладный ветер хлынул в погреб, шевельнул на бессильно откинутой голове умирающего белокурые волосы.

Мария поднялась по ступенькам, остановилась на последней.

Торжествующий мир сиял осенней красой: светило неяркое солнце, по голубому небу, редая, лениво рассеиваясь, плыли легкие белые облака, на черном пепелище почти исчез запах дыма и гари, и уже сквозь этот исчезающий запах с полей доносились запахи влажной, обрызганной утренней росой соломы, увядших трав, первых предзимних холодов. Над головой Марии медлительно с волнующим гортанным криком пролетела на юг стая гусей. А совсем рядом, внизу" в полутемном углу погреба, свершалось то, что могло свершиться только по злой воле жестоких людей: умирал человек, почти мальчик, по имени Вернер Брахт, умирал бесцельно, глупо, посланный на смерть в угоду свирепым и жадным правителям его страны, которых он, сын бедного крестьянина и сам крестьянин, никогда не видел и не хотел видеть

и в угоду которым, еще но живший, не знавший любви и ненависти, сейчас отдавал свою молодую жизнь...

Вернер Брахт умер перед полуднем. Мария закрыла ему глаза, пригладила ладонью растрепанные волосы, положила руку на холодеющий лоб. Всмотриваясь в мальчишеское лицо, думала: "Вот и отгулял ты на земле. Видать по всему, был ты еще честным, чистым парнем, не замаранным убийствами и кровью. Скучал, как все дети, но отцу, по матери... Потому и ко мне тянулся, мамой называл. Когда вам, детям, плохо да больно становится, вы все матерей вспоминаете... А что из тебя получилось бы, если б ты не был убит, если б не умер? Бог знает! Твои же друзья да наставники быстро приучили б тебя к тому, что делают сами... И людей бы ты убивал, и девчонок вроде Сани насильничал и расстреливал, и хаты поджигал бы на чужой земле... Может, и лучше, что ты номер и остался чистым..."

Она посидела немного. Вытерла слезы, подумала о том, что жизнь берет свое, что ей надо жить, что надо вынести покойника из погреба, этой темной, угрюмой норы, уготованной ей судьбой, чтобы потом все обладать и приготовить к зиме жалкое свое жилье...

Вынести мертвого было нелегко. Она сначала подтащила его окаменевшее тело к ступенькам, с трудом поставила головой вверх и стала тихонько подталкивать к люку, надрывно дыша и шаг за шагом одолевая каждую ступеньку. А когда труп Вернера Брахта по пояс высунулся из погреба, Мария еле протиснулась сама и стала освобождать ноги умершего, застрявшие в люке. Возилась долго, и ей все казалось, что она причиняет мертвому боль. Уложила тело Брахта на обрывок брезента, найденный в немецком блиндаже, обвязала проволокой и потащила к воронке, в которой недавно закопала убитого осколком бомбы пожилого немецкого солдата. Рядом с ним она похоронила и умершего от смертельной раны Вернера Брахта...

И вновь осталась Мария одна в окружении мертвых. Потянулись один за другим тоскливые осенние дни. Дождей пока не было, но октябрьские холода уже давали себя знать. По утрам на сухих травах вокруг пепелища серебрился иней. Звонко переключаясь, улетали па юг журавли, гуси, утки. Иногда они садились на пустынные плесы у речки, отдыхали, кормились, а когда рассветало, снимались с громким хлопанием крыльев и летели дальше. Днем слегка пригревало солнце, иней подтаивал, а к вечеру опять тянуло холодом.

Ни одного дня Мария не оставалась без работы. Ее беспокоило добывание огня зимой. Ведь у нее не было ни спичек, ни зажигалки, и она выкопала в погребке небольшую нишу, чтобы дуновение ветра не загасило установленный там светильник-жировик, сделанный из консервной коробки и постоянно наполняемый жиром, натопленным из трупов телят. На случай, если этот огонь погаснет, Мария вспомнила, как покойный ее дед высекал огонь из кресала, держала, про запас высушенную сердцевину из стеблей подсолнуха, найденный на берегу речки кремень и кусок крепкой стали - отломанный нож сенокосилки.

Каждое утро она уходила на картофельное поле, копала картофель и приносила к себе в погреб. Запасла свеклы, капусты, моркови, наломала кукурузных початков, натеребила зерна и из двух твердых камней соорудила мельницу, на которой ей удавалось ежедневно намолоть несколько стаканов муки.

Водой Мария была обеспечена. Освобожденный от трупов хуторской колодец вновь наполнился из подземного ключа чистой водой, и вода всегда стояла в погребке, налитая в большой немецкий термос. Марии долго пришлось повозиться с установкой добытой в блиндаже печки. Несколько часов орудовала она тесаком, пробивая в крыше погреба круглое отверстие для трубы, наносила из взорванной фермы кирпичей и, замесив глину, сделала для печки кирпичный подстав с боковыми стенками, чтобы ненароком

не сгореть в своем одиноком логове.

Страшась людей, она резала тесаком кукурузные бодылья, перевязанные проволокой охапки относила к погребу и прикрывала ими вход в свое жилье. Вскоре над погребом выросла копна бодыльев, под которые Мария вывела печную трубу. Топила только днем, настороженно оглядывая окрестности, чтобы никто не заметил дыма из ее печки.

Приближалась зима. В один из холодных октябрьских дней Мария осмотрела взорванный немцами коровник. Почти всю неделю Мария разбирала завал кирпичей, чтобы освободить проход в уцелевшие углы коровника и укрыть от дождей и снега четырех коров. Проход получился узкий, неровный, но Мария была рада, что в зимние холода, в метельные ночи над головой у животных будет крыша, а толстые кирпичные стены защитят от свирепых степных ветров.

Построенный перед войной коровник был рассчитан на двести голов, а теперь в темной пещере уцелевшей его части, куда, пробиваясь сквозь горы обрушенного взрывом кирпича, Мария проделала ход, могло поместиться полсотни коров.

Надо было подумать и о себе, одеться потеплее.

Марии позарез нужна была игла, чтобы из обрывков брезента, из рваных, найденных в окопах мешков пошить себе подобие платья. Холода с каждым днем приближались, а она ходила в солдатской шинели, надетой прямо на голое тело. Ветер задувал под шинель, заставляя Марию зябко ежиться, она часто убегала в погреб греться.

Иглу она сделала из куска сталистой проволоки: загнула одну сторону в виде игольного ушка, загладила ушко на камне, отточила острие. Чтобы добыть нитки, распустила оставшиеся в погребе, чисто выстиранные носки Вернера Брахта. Теперь можно было шить.

Еще два раза ходила Мария в пустые окопы за речкой и находила нужные ей вещи: то брошенную гимнастерку, то окровавленное белье, то вещевые

мешки или обмотки - и все это отмывала, отстирывала в речке, сушила и уносила к себе в погреб. Из этого заношенного тряпья она пошила подобие платья. Распоров и сшив два вещевых мешка, сделала довольно большой платок. Отремонтировала голенища снятых с убитого немца сапог и стала надевать их, приспособив под портянки разорванную надвое гимнастерку. Отрезав полы длинной суконной шинели, скроила и сшила рукавицы, просторные домашние тапочки.

- Что ж, теперь можно встречать зиму, - сказала она себе. Она страшилась встречи с любым человеком, и в то же время ей в ее одиночестве хотелось, чтобы с ней был кто-нибудь из живых людей, кому можно было бы рассказать о своем горе и услышать человеческую речь. Она даже боялась, что разучится разговаривать, и потому подолгу говорила с коровами, с собаками, с голубями. Недели через три заметила, что начинает разговаривать сама с собой. Надо, допустим, сходить ей к колодцу или принести коровам корм, она говорила вслух:

- Пойдем принесем воды. Без воды нам никак нельзя, а водичка сейчас в колодце чистая, холодная...

Или:

- Коровкам надо свеклы принести и початков кукурузы прихватить! Ночи теперь стали длинные, скотинка питаться должна как положено, иначе и молочка мы не получим...

Однажды Мария стирала на речке белье и вдруг заметила, что к хуторскому пожарищу приближаются два всадника на рослых подседланных конях. "Это они, немцы", - замерев от страха, подумала она. Мария уползла в камыши и оттуда следила за ними. "Если только заметят мой погреб, - мелькнула пугающая мысль, - пропала я, замерзну в снегах, как собака. А то еще начнут искать меня, найдут и убьют..." К счастью, обе собаки были с ней, им передался ее страх, и они молча жались к ее ногам. Коровы тоже паслись далеко в кукурузе, их с дороги нельзя было

обнаружить.

Всадники медленно проехали по хуторской улице, не спешиваясь, постояли немного, повернули обратно и, объехав пожарище, поскакали в степь. Мария успела заметить, что оба они были вооружены винтовками и в седлах держались с солдатской ловкостью и прямоотой. "Конечно, они, проклятые, - подумала Мария, - никто, как они, немцы. Рыскают по хуторам, чтобы добить каждого, кто остался в живых..."

Однако Мария жестоко ошиблась, но это стало известно значительно позже. И если бы она не ошиблась, не пришлось бы ей пережить все, что она пережила в долгие зимние месяцы. Оба всадника были партизанами-разведчиками, посланными по хуторам, чтобы узнать, сколько в них немцев, кого они назначили старостами, полицаями, кого из советских людей казнили и кого угнали на каторгу. Партизанский отряд располагался далеко от хутора, в густых лесах, на берегу реки, куда впадала безвестная хуторская речушка. Оба разведчика, вернувшись в отряд, доложили командиру обо всем, что видели, и, между прочим, сказали:

- Третья бригада колхоза имени Ленина уничтожена немцами. Хутор сожжен дотла, в нем не осталось ни одной хаты и ни одного живого человека, только чернеет мертвое пожарище...

В этом отряде партизанил и Афанасий Герасимович, бывший председатель колхоза имени Ленина, который хорошо знал Ивана, и Марию, и всех хуторян. Он был комиссаром отряда. Выслушав вместе с командиром двух вернувшихся разведчиков, он только вздохнул, низко наклонил голову и сказал:

- Хорошая была бригада. Жалко людей, и хутора жалко. Так, говорите, ни одной хаты и ни одного человека? Все, сволочи, пожгли, все порушили? Они от нас не уйдут. Придет час, мы с ними за все рассчитаемся. Сполна...

Так третья бригада колхоза имени Ленина была вычеркнута из колхозного

хозяйства, а все люди, еще совсем недавно населявшие хутор, были посчитаны мертвыми. И партизаны решили больше не посещать сожженный хутор. Ведь черное, пустынное пепелище никому не было нужно.

Немцы тоже не появлялись в этих местах. Уж кто-кто, а они отлично знали, что их каратели выполняют приказы точно и аккуратно. И если было приказано сжечь хутор, людей всех угнать в Германию, а животных уничтожить, можно не сомневаться в том, что все так и сделано. И потому на немецких картах, там, где малой точкой был обозначен хутор, после донесения командира карательной зондеркоманды малая точка - хутор - была перечеркнута жирным коричневым крестом...

Между тем на хуторе продолжалась своя, неведомая людям жизнь. Обозначена эта жизнь была неприметным дымком, который струйками просачивался сквозь кукурузные бодылья и таял в воздухе: Мария топила печку в своем подземном логове.

Жива была и вычеркнутая из жизни третья бригада колхоза имени Ленина, которую представляла единственная оставшаяся в живых женщина-колхозница по имени Мария.

Началось это так. Стоял холодный октябрьский день. Еще на рассвете прошел мелкий, нудный дождь. Потом дождь прекратился, утих сырой, знобящий ветер, но все вокруг стало темным, отяжелело, приникло к земле. Истопив печку, Мария обулась, надела шинель и вылезла из своего логова-погреба. Постояла, задумчиво глядя на речку, на поредевший лес вдали, на серое, за одну ночь потерявшее привычный желтоватый оттенок кукурузное поле.

Сложив на груди руки, Мария долго и грустно смотрела на неубранное поле, вспомнила, что там, рядом с этим полем, лежат под землей тонны невыкопанного картофеля, свеклы, моркови, что никем не собранные поздние арбузы на колхозной бахче расклеваны воронами, а еще дальше, за холмом, сиротливо склонив к земле наполненные семенем головки, пропадает,

осыпается большое поле несрезанных подсолнухов.

Мария тяжело вздохнула:

- Сколько людского труда прахом пошло... Сколько сил вложила бригада в эти покинутые людьми поля... Сколько ночей недосыпали трактористы, шоферы, возчики, доярки, пастухи, чабаны... Я знала всех этих людей. Всех до одного человека. Мы вместе работали, вместе трудились на одной нашей общей земле, вместе гуляли на праздниках, на свадьбах... вместе родителей на кладбище хоронили...

Так в это утро говорила себе Мария, вспоминая угнанных немцами хуторян, и гнетущее чувство какой-то вины. перед людьми, перед своей исчезнувшей бригадой вдруг ноющей болью сдавило ей сердце.

- Ну чего ж будем делать? - мучила себя Мария. - Ты одна из всех выжила, одна за всех и должна работать, должна выстоять.

И сама себе отвечала, томимая бессилием:

- Одна, говоришь? А ты погляди, сколько кругом неубранного добра! Разве ты выдюжишь? Разве ты уберешь все это? Ты ведь только капля в море! Глянь на одно кукурузное поле, в нем шестьдесят гектаров, а у тебя две руки, и все...

- Подсолнух на землю сыплется. Жалко. Туда Иван мой весною возил на машине посевное зерно, а дядя Тимофей, отец Санечки, тракторист, и пахал это поле и засеял его. А сейчас подсолнух расклевывают птицы, и пересох он, и на землю сыплется. Что ж, сидеть мне и глядеть на это горе со стороны?

- А что ты, дурочка, можешь сделать? Что у тебя, комбайн есть или грузовые машины? Подсолнуха-то не меньше чем тридцать гектаров.

- Комбайна у меня, правда, нету. Но есть немецкий тесак, очень острый. Им будет удобно срезать головки подсолнухов. А Зорьку, корову, я запрягу и буду отвозить на ней подсолнухи.

- Но куда отвозить? Или у тебя есть склад. или ты уже построила

зернохранилище?

- Можно и не отвозить... складов у меня нету... Можно все сложить там, на поле.

- А дожди? А снега?

- Ничего. Можно накрыть головки подсолнухов кукурузным бодылем. Хорошо, по-хозяйски накрыть, они не погниют...

- Дурочка ты, Мария! Дурочка! Глупая баба! Ну, скажем, уберешь ты пять-шесть гектаров подсолнуха. А двадцать пять гектаров картофеля? А десять гектаров свеклы? А шесть гектаров моркови? А той же кукурузы шестьдесят гектаров? Осилишь ты все это?

- Нет, не осилю. Хотя бы понемногу всего соберу, чтоб не погнило, чтоб не пошло прахом. Придут сюда люди, наши люди, из колхоза имени Ленина, Владимира Ильича... придут они и спасибо мне скажут...

- Придут, говоришь? А если не придут, никогда не придут? Если немцы уже всю Россию забрали, весь Советский Союз? Если никаких колхозов больше не будет, а будут имения немцев-помещиков?

- Тогда я и себя удуш и дитя свое нерожденное...

- Вот ради дитя нерожденного ты, глупая дурочка, обязана себя побережь, а не спину гнуть и силу терять на неубранных колхозных полях. Чего тебе еще надо? Тебя не убили, на чужбину тебя не угнали. Ты нашла эту теплую нору, печку в ней поставила, на зиму все себе наготовила: и картофеля, и свеклы, и мяса конского целую телегу, и четыре дойных коровки у тебя есть. Тебе сейчас одно надо: выстоять, пережить это горе, родить дитя и ждать. Понимаешь ты, неразумная баба? Ждать лучших времен...

- Нет... Так я не могу. Допустим, отсижусь я тут, как волчица в норе, и дитя рожу, и раздобрею на даровых колхозных харчах, и, скажем, дождусь того дня, когда придут наши. Вот придут они и спросят: как ты тут жила, передовая колхозница-дойрка, жена казненного врагом колхозника коммунист-

та Ивана, мать славного, погибшего вместе с отцом пионера Васятки? О себе только думала, а о людях забыла? О тех самых людях, которые вместе с тобой, с твоим отцом и матерью, с мужем твоим все поля тут вдоль и поперек исходили, сколько пота пролили на них, сколько честного своего труда вложили... А ты, Мария, только о себе, значит, думала? И куда ты совесть свою при этом девала?..

Так в это пасмурное утро стояла одинокая Марин у своего логова-погребца, так раздваивались в ней тревожащие ее голоса, и она сама, подавленная своим горем, не знала, что ей делать одной, совсем одной, на необозримых, покинутых людьми полях. и будет ли смысл в том, что она, с каждым днем слабеющая, беременная женщина, начнет убирать эти поля, и кому в этом горестном, наполненном кровью и смертью мире будут нужны жалкие плоды ее тяжкой, изнурительной работы, если нет вокруг ни одной живой души.

На окраине хутора, за взорванной фермой, спокон веку было кладбище. Ничем не огороженное, оно в этот день печально темнело у подножия покатога холма. Мария пошла на кладбище. Собаки увязались за ней. Молча остановилась она у первой ближней могилы с покосившимся деревянным крестом. Старые хуторяне рассказывали, что в этой могиле, которая положила начало кладбищу, был похоронен первый хуторской поселенец дед Корней, прапрадед Ивана. Говорили, что убогая хата деда Корнея когда-то стояла на том самом месте, где потом построил свой домик Иван. Говорили еще, что дед Корней, крепостной мужик, бежал в эти глухие тогда места от помещика, что хотя и прожил он девяносто шесть лет, а доли своей так и не нашел и до самой смерти промаялся в бедности, еле сводил концы с концами.

Мария постояла у могилы, поплакала, тихо сказала:

- Ивана уже нет на свете, дед Корней... И Васятки моего тоже нет... И никого живого на хуторе нет... Одна я осталась... Люди говорили, что вы

первым пришли сюда и от вас весь хутор пошел... вы были первым, дедушка, а я вот последняя...

Медленно обходя могилы, Мария пошла в угол кладбища, к невысоким тополям. Под этими посаженными Иваном тополями была похоронена мать Марии. Белоствольные тополя уже обростили почти всю листву, она лежала под ногами мягким, влажным ковром. Лишь отдельные рыжие листья еще цепко держались на тонких ветвях, тихим, невнятным шелестом отвечая на холодное дуновение ветра. Глинистый бугорок материнской могилы показался Марии осевшим, а сложенный из четырех побеленных кирпичей крест был до половины засыпан палой листвой.

Мария опустила на колени.

- Мама! - прошептала она. - Вы слышите меня, мама? Это я, ваша дочка... Промолвите хоть словечко, мама! Дайте совет, как мне жить на белом свете...

Рыдая, она упала, прижалась щекой к влажному, холодноватому могильному бугорку.

- Что же вы молчите, мама? - иступленно шептала она. - Не молчите! Скажите, для чего вы породили меня? Вы хотели, чтоб ваша дочка была счастливой... Вы голубили меня, ласкали... Вы учили меня уму-разуму, завещали, чтоб я была совестливой, чтоб любила людей и землю, чтоб была хорошей женой и матерью... Так все и было, мама! Было, да пропало... И нет у меня, родная моя мамочка, ни любимого мужа, ни сыночка любимого, ни счастья, ни доли, и не знаю я, куда преклонить свою головушку...

Безмолвным было убогое хуторское кладбище. Темные, свинцового оттенка, тучи низко неслись над безлюдной землей. Тихо и грустно шелестели рыжие листья на тополях. Поникли, прижались к земле отяжелевшие увядшие травы. Лишь кое-где на могильных холмах, словно последнее напоминание о пропавших людях, печально и жалостно зеленели тронутые предзимней краснотой низкие, жестковатые стебли ползучего

барвинка.

Мария поднялась с колен, осмотрелась. Вспомнила, как ежегодно, соблюдая обычаи прадедов, хуторяне отмечали на кладбище радуницу - день поминовения усопших, как в предвечерье, придя с работы, умывались, надевали праздничную одежду, укладывали в корзинки загодя испеченные пироги, соль, яички, бутылки с вином и водкой и всем хутором шли к родительским могилам, чтобы помянуть умерших добрым словом, выпить за упокой их и словно бы посидеть с ними, ожившими в воспоминаниях, побеседовать о разных житейских делах.

Кладбище в день радуницы всегда было чистым, вокруг родных могил хуторяне высаживали неприхотливые остролистые кочетки и веселый барвинок, тропки между могилами посыпали белым речным песком, чинили кресты, подбеливали надгробья, красили оградки, у кого они были. И все кладбище в день поминовения было заполнено хуторянами: степенные, чисто выбритые мужики расстилали на земле домотканые рядна, женщины в разноцветных платках и платьях устанавливали на ряднах граненые рюмки, бутылки, раскладывали разную снедь, все усаживались вокруг, и начиналось поминовение. Не забывали никого из усопших, поминали и тех, кто давно помер, старых и малых, и тех, кого похоронили совсем недавно. Поначалу поминали близких, потом дальних, потом сватов, кумовьев, крестных, просто друзей-земляков. Помаленьку хмелели, вытирали платочками слезы, кто-то заводил песню. Но песни пели печальные, протяжные, те самые, какие при жизни певали отцы и деды: про злую разлуку, про бедную долю, про работу в полюшке-поле. Пели, и всем казалось, что в эти с детских дней знакомые песни тихо, незаметно вплетаются позабытые голоса умерших, что, захмелев от вина и воспоминаний, поют все: и живые, и мертвые. И это было хорошо, потому что радуница как бы объединяла людские поколения, делала людей добрее и лучше...

Но в этот хмурый день поздней осени на хуторском кладбище не было ни

одной живой души, кроме Марии. И она, сопровождаемая притихшими собаками, медленно обошла все могилы, помянула каждого, кого знала и кого не знала. Не знала она самых старых, тех, кто умер, когда ее еще на свете не было или была она совсем малой девчушкой-несмышленишкой. А все, кто умер за последние двадцать пять лет, были известны Марии, и она стояла над их могилами и их жизнью в одиночестве, проверяла свою жизнь и свою совесть, словно примеривала: кто бы из них как поступил и что делал бы, оставшись совсем одним, так же, как осталась сейчас она.

"В этой могиле похоронен дядя Арсений, - вспоминала Мария. - Он помер, поруганный белогвардейцами Врангеля в двадцатом году, когда мне было семь лет... Тут лежит Лука Васильевич, председатель хуторского комбеда. Он призывал хуторян бороться за коммуну, за Ленина. Его кулаки привязали канатом к старому вязу и прокололи вилами. Мне в ту пору было восемь лет... На этом кресте написано имя Варвары Павловны, тетки моей. Она первой на хуторе вступила в Коммунистическую партию и умерла от сыпного тифа, когда мне шел девятый год... А весь этот ряд могил вырос при моей памяти, и лежат в них те, кого я видела, знала, говорила с ними: трактористы, пастухи, пчеловоды, доярки, конюхи. Они трудились всю жизнь, строили наш колхоз, не боялись ни голода, ни холода, и хоронили их с красным знаменем и спасибо над могилой сказали за все, что сделали они для народа..."

Острая боль пронзила сердце Марии. На кладбище, где обрели вечный покой многие хуторяне, не было могил самых близких ей людей: мужа и сына. Долго стояла Мария у кладбищенских ворот, тихо бессвязно шептала:

- Я бы цветов насадила на ваших могилках, красивых цветов... Я бы белым промытым песочком обсыпала все кругом, каждую тропочку... Я бы приходила к вам, любые мои, и себе место приготовила, чтоб никогда с вами не разлучаться. Кто же мне может сказать: где вы схоронены и где лежите? Никто не скажет, и никогда не увижу я ваших могил...

Покидая кладбище, Мария снова остановилась у могилы деда Корнея, поклонилась покосившемуся кресту, промолвила, как будто обращалась к живому:

- Ты был первым, и они не посрамили твою память, и те, кто лежит тут с тобой, и те, кого казнили и угнали злые враги. Негоже и мне быть последней...

Запахнув шинель, Мария торопливо пошла к своему логову.

Всю ночь шел нудный холодный дождь. Спала Мария плохо, беспокойно. Часто просыпалась, смотрела на слабый огонек поставленного в нишу светильника, думала о том, что с утра надо начать трудную работу, конца которой не видно.

Утром она оделась потеплее, вышла из погреба, постояла. Глянула на прислоненную к яблоне вывеску, на горку черных, обгорелых гвоздей, собранных на пепелище. Подняла вывеску повыше и, взяв в руку камень, стала прибивать к толстому стволу яблони. Гвозди гнулись, крепкое дерево не поддавалось. Мария изранила левую руку, но вывеску все же прибила. Отошла на несколько шагов от яблони, вслух прочитала знакомые слова: "Третья бригада колхоза имени Ленина"...

Усмехнулась невесело и сказала самой себе:

- Ну чего ж, бри-га-да, пора на работу...

Она вернулась в погреб, взяла тесак, кусок брезента и пошла к полю, где росли подсолнухи. Остановилась у межи. Полю не было видно конца. Мария вздохнула, расстелила брезент и начала резать.

Пересохшие шляпки подсолнухов царапали пораненную камнем левую руку, но острый, как бритва, немецкий тесак срезал шляпки легко. Мария складывала их на брезент и уносила в глубину поля, чтобы ничей чужой глаз не увидел гору срезанных, готовых к обмолоту шляпок. Она шла вдоль поля, захватывая четыре ряда подсолнухов. Только к полудню стала подходить к концу поля и, когда подсолнухи поредели, увидела пчелиные

ульи, большую колхозную пасеку, вывезенную сюда еще в пору цветения поздних подсолнухов.

Пчеловодом в колхозе был двоюродный брат Марии, тихий горбатенький парень Кирюша. Он до войны закончил областные пчеловодные курсы, в армию не был призван по причине своей инвалидности, о женитьбе не думал, проживая со старухой матерью в небольшом чистом домике, построенном для них колхозом. Пчел Кирюша любил до самозабвения, кочевал с ними по степи и полям. Мария иногда приезжала к нему на пасеку, лакодилась пахучим сотовым медом, часами слушала его рассказы о жизни пчел, о роении, маточниках, трутнях. Вместе с матерью и всеми хуторянами немцы угнали Кирюшу, а осиротевшие пчелы остались в поле и были обречены на медленную смерть от зимних холодов.

Мария прошла вдоль ульев, пересчитала их. Оказалось шестьдесят семей. После наступления холодов пчелы уже не летали, нигде не было слышно их ладного жужжания, лишь на прилетных досках лежали трупики пчел, которые, возвращаясь к родным ульям, обессилели, не смогли заползти в улей и замерзли.

"Надо будет накрыть ульи хоть стволами подсолнухов, а то зимой пропадет вся пасека, - подумала Мария. - В эту пору Кирюша уже увозил их на хутор и ставил в омшаник. Теперь ни Кирюши пет, ни омшаника".

Она сняла с прилетной доски застывший пчелиный трупик, положила на ладонь, сказала тихо:

- Бедняжечки вы мои! Остались без хозяина, и некому приглядеть за вами, и никому вы не нужны...

Вспомнив, как пропавший Кирюша готовил пасеку к зиме, Мария уменьшила летки во всех ульях, прислушалась, постукивая указательным пальцем по деревянным стенкам, к ровному жужжанию пчел.

- Ничего, меда вам хватит, - сказала она, - мед осенью не качали. А хаточки ваши я утеплю, укурю от мороза и снега...

Подсолнухи Мария резала до подвечерья, пока не почувствовала голод. Среди поля, укрытая от глаз людских, высилась гора нарезанных шляпок. Закинув за шею онемевшие, усталые руки, Мария посмотрела на срезанные шляпки, сказала:

- Норму ты, голубушка, выполнила и даже перевыполнила. Но работать-то тебе надо не только за себя, а за всю бригаду. Вот, дай бог, вернутся люди, и станешь ты перед ними отчитываться: так, мол, и так, товарищи колхозники, трудилась я на совесть, делала для вас, родные мои, все, что могла... а если чего недоделала, недоглядела - не обессудьте, значит, сил у меня не хватило...

Дома она наспех подоила вернувшихся с пастбища коров, покормила собак и голубей, нехотя выпила молока и сразу уснула. На рассвете ушла в поле и снова резала подсолнухи до темноты. Так она работала полторы недели, не чужая от усталости ни рук, ни ног. Чтобы переменить работу, выкопала на картофельном и свекольном полях две длинные глубокие ямы и решила, что надо неделю поработать па рытье картофеля и свеклы. С помощью самодельной иглы пошила мешок, в который собирала вырытые овощи, и, взвалив мешок на плечи, относила и укладывала картофель и свеклу в ямы...

Шли дни... На пепелище никто из людей не показывался. Да и кому было дело до сожженного хутора, который и раньше-то стоял в степной глуши, у черта на куличках? Казалось бы, живой человек не выдержит долгого одиночества, жизни среди мертвых. Только человек сильный духом привыкает ко всему и борется, чтобы победить. Мария не была смелой и сильной духом. Маленькая женщина, потерявшая все и всех, по-матерински любила людей и незаметно для себя стала привыкать к тому, как жила. Она почти перестала бояться внезапного появления немцев, днем ходила не прячась, хотя и готова была при малейшей опасности мгновенно схорониться в гущине неубранной кукурузы или уползти и залечь где-нибудь у недогоревшей,

черной от копоти стены.

С каждым днем все больше холодало. Все чаще шли дожди. Иногда по утрам срывался ветер, и тогда в воздухе кружились первые редкие снежинки. Мария работала ежедневно: то резала подсолнухи, то копала картофель, морковь и свеклу и утепляла ульи на пасеке.

Привыкла она и к своему молчанию. Говорить было не с кем. Дружок и Дамка ходили с ней в поле, и она разговаривала с ними, вечером заводила такой же безответный разговор с коровами, с голубями. Больше всего выручали ее песни. Они не требовали собеседника. Чаще всего Мария пела, работая в поле, пела негромко, вполголоса, чтобы не привлечь к себе ничьего внимания, и на память ей приходили песни, слышанные в детстве от матери. Была Мария тогда совсем малой, не знала, почему отца ее, которого она почти не видела, хуторские женщины называют "красным" а богатого дядьку Елисея - "белым", почему, сидя вечерами за прялкой, мать задумается, наклонит голову и начнет тихонечко петь... Сейчас Мария вспоминала все жалостные, хватающие за сердце слова материнских песен и, неустанно орудуя тесаком, пела:

Вьется ласточка

Сизокрылая

Под окном моим

Одинешенька.

Над окном моим,

Над косящатым,

Есть у ласточки

Тепло гнездышко:

Ждет касаточку

Белогрудую

В теплом гнездышке

Ее парочка...

Мелькает в руках у Марии вороненый немецкий тесак, падают на брезент срезанные шляпки подсолнухов, плывут над ее головой тяжелые, низкие тучи, а она, удерживая подступившее к горлу рыдание поет:

Слезы горькие

Утираючи.

Я смотрю ей вслед.

Вспоминаючи.

У меня была

Тоже ласточка.

Белогрудая

Душа-пташечка,

Да свила судьба

Ей уж гнездышко

Во сырой земле

Вековечное...

Снова работала Мария до темноты, и опять ныли от смертной усталости се руки и ноги. Но она, как всегда, подоила коров, собак покормила, потом при слабом огоньке жирника до полуночи приводила в порядок подземное свое жилье. Она привыкла делать это каждый вечер, и с каждым вечером у нее прибавлялся какой-нибудь предмет, и темный погреб стал все более походить на жилую комнатку-келью. Из нескольких найденных в окопах патронных ящиков она соорудила стол. Подсушенную на ветру шкуру убитого немецкого коня постелила на земляном полу. Пригодились и доски, унесенные из немецких блиндажей. Мария сбила из них нары. На полевых промежках нарвала и положила по углам пучки полыни, чтобы вывести блох у Дружка и Дамки. Собак она ночью держала с собой, боясь, что в случае появления немцев они выдадут ее своим лаем. И обе собаки поняли ее состояние: при малейшем шуме они только тихонько рычали и посматривали на Марию, как будто спрашивали у нее: надо сидеть тихо или можно

залаять?

В эту долгую осеннюю ночь Марии почти не пришлось уснуть. Едва она прилегла на нары, как услышала протяжный волчий вой. Года за три до войны волки, бывало, бродили в степи вокруг хутора, но хуторские охотники вскоре обнаружили в одном из дальних оврагов волчье логово, убили волчицу, шестерых волчат, а матерый волк ушел куда-то с поредевшей стаей. С тех пор никто из хуторян про волков ничего не слышал. И вот сейчас, в эту ночь, волчий вой раздался совсем близко.

Дружок и Дамка вскочили, оскалили зубы. Шерсть на их спинах поднялась дыбом. Вой повторился. Дружок стал рычать.

- Тихо, собачки, тихо, - присев на нарах, сказала Мария, - сюда волки не доберутся, а дверь в коровнике я подперла бревном. Так что сидите спокойно...

Вдруг совсем рядом с погребом Мария услышала испуганное блеяние овец. Откуда на хуторском пепелище могли взяться овцы, она не знала. В третьей бригаде овец не было. Председатель колхоза держал их далеко в степи, километрах в шестидесяти от хутора, где у чабанов были своя землянка, колодец и аварийные корма. Потом Мария вспомнила, что иногда отары соседнего овцеводческого совхоза, кочуя по степи, приближались к хутору. "Должно быть, это совхозные овцы, - подумала она, вскакивая с нар. - Чего ж мне теперь делать? Как спасти овец? Порежут их волки".

Она схватила горящий жирник, одним рывком открыла люк погреба и, кликнув собак, выскочила наверх, размахивая жирником. Дружок и Дамка вылетели следом за ней. У самой яблони Мария увидела сбившихся в кучу овец, а чуть поодаль - волков. Дамка уже сидела возле овец, рыча и скаля зубы, а Дружок, осатанев от злости, хрипло лаял в темноту. Волки бежали неподалеку, сверкая зелеными огоньками глаз.

- Ах вы, проклятые! - закричала Мария, подняв жирник. - Я вас! Сгиньте! Чтоб вы подошли, гады!

Человек с огнем и злые собаки, видимо, напугали волчью стаю. Уже много дней рыская по пустой, обезлюдившей степи, волки не ожидали того, что на их пути появится опасность. Покружив немного вокруг недоступных теперь овец, они отбежали подальше и пропали в темноте.

Мария побоялась оставить овец без присмотра. Надев сапоги и шинель, она вооружилась лопатой, кликнула собак, села на камне у яблони и решила сидеть до утра. Дружок и Дамка улеглись у ее ног, настороженно наострив уши. Ночь была холодная, звездная. В обнаженных ветвях яблони посвистывал ветер. Еще один раз где-то очень далеко, за холмом, уныло и протяжно провыл волк, потом наступила тишина.

В темном небе мерцали мириады звезд, одни остро и ярко, другие слабо, почти незаметно. Мария смотрела на усыпанное звездами небо, думала о горестной своей судьбе, о том, как трудно сложилась ее жизнь. Она давно, с детства, будучи пионеркой, перестала верить в бога, хотя помнила, как старая бабка Домна ежегодно под пасху водила ее в церковь. Церковь была очень далеко, верст за тридцать от хутора. Чаще всего ходили они пешком, и маленькой Марусе нравилось идти рядом с неторопливой бабкой Домной, смотреть на зеленые разливы пшеницы, на траву у проселочной дороги, на убогие часовенки у перекрестков, слушать веселый гомон хлопотливых грачей, которые в эту пору обычно вили гнезда на опушке придорожного леса, еще почти прозрачного, но уже зеленеющего нежной молодой листвой.

Нравилось Марии и в церкви, все казалось ей там необычным, торжественным: и дрожащие огоньки свечей, и запах горячего воска и ладана, и смутное отражение человеческих лиц в стеклах икон, и сами люди, спокойные, умиротворенные, празднично одетые. Протяжно звучал дребезжащий старческий голос дряхлого священника, а откуда-то сверху, с клироса, его возгласы подхватывал медлительный хор, и Мария восторженно слушала рокочущее, будто отдаленный гром, гудение басов и частые, звучащие где-то под самым куполом, трепетные переливы теноров и

дискантов.

А когда в душной, полутемной церкви вдруг зажигались все свечи, и хор мощно и радостно пел о воскресении распятого бога, и на высокой колокольне наперегонки один с другим трезвонили большие и малые колокола, а люди говорливой, веселой толпой выходили на паперть и растекались по церковному двору, поздравляя и целуя друг друга, с маленькой Маруси слетал благостный сон, и детская душа ее замирала от непонятого, таинственного блаженства, в котором сливалось все: и весна, и хорошие люди, и сотни огоньков, и то, что неведомый ей, убитый злодеями кроткий бог воскрес и парил над людьми, ласково оглядывая их с золотой парчи церковных хоругвей...

Потом, когда Мария стала пионеркой, вожатый отряда, озорной чернявый комсомолец, узнал, что она бывает в церкви, отозвал ее в сторонку, усадил на скамью - разговор шел в районном парке - и заговорил серьезно и спокойно:

- Это правда, что ты ходишь в церковь?

Мария потупилась.

- И тебе не стыдно? - приподняв бровь, спросил вожатый.

- А чего мне должно быть стыдно? - волнуясь, спросила Мария. -

Бабушка Домна ходит и меня берет с собой.

- Бабушка Домна темный, неграмотный человек. ей простительно, - сказал вожатый, - а ты пионерка, дочка красного героя-партизана, завтрашня комсомолка. Разве ты не знаешь, что никакого бога нет, что это выдумка попов и что все церковное благолепие - иконы, свечи, ладан и прочая ерунда - это поповский театр, придуманный для того, чтобы мутить людям голову?

- Я этого не знаю, - смущенно сказала Мария, мы в школе поповский театр не проходили.

Вожатый засмеялся:

- Не все сразу. Будете еще проходить. А сейчас, девочка Маша, я тебя попрошу об одном: не ходи в церковь, не позорь наш пионерский отряд и своего покойного отца-коммуниста. Лучше хорошо учись, читай книги, и ты до всего дойдешь сама...

Мария запомнила этот разговор. На каникулах она рассказала о нем матери, стала расспрашивать о том, как жил и во что верил покойный отец, и мать задумалась, помолчала и проговорила, погладив русую голову дочки:

- Слушайся этого вашего вожатого, он умный парень, школу кончил. А отец? Что ж, отец в бога не верил. Он не о боге думал, а о бедных людях...

После разговора с матерью Мария перестала ходить в церковь. Да и не с кем было ходить - вскоре заболела и умерла бабушка Домна. Мария росла, стала понимать, что люди сами выдумали бога, что лучше бы они сделали рай на земле, не голодали, не ссорились и не убивали друг друга.

Пионерские походы, песни у жарких костров на лесных полянах, школьные занятия, комсомол не прошли для Марии бесследно, и, хотя школу ей не довелось окончить. Потому что надо было помогать матери, она укрепилась в мысли, что самое главное в жизни человека - делать людям добро.

Сидя в эту ночь у яблони, оберегая овец от волков, Мария смотрела в звездное небо и думала о том, что вся ее жизнь, все потери, что довелось ей испытать, были лишь предпутьем к тому непомерно трудному, что должна она совершить сейчас, в пору страшного для нее одиночества, к тому, что она должна, обязана сделать не только для нерожденного своего ребенка, но и для людей, которые трудились на нелегких хуторских полях, и тоже трудились не только для себя и для своих детей, но и для многих людей, которых они не видели, не знают и никогда не увидят и не узнают. Ее пугала необъятная обширность колхозных полей, на которых до прихода немцев работала вся третья бригада - шестьдесят три человека, работала с помощью тракторов, комбайнов, автомобилей, лошадей, телег. Теперь она,

Мария, должна убрать все, что было выращено бригадой, одна. "Все равно никуда мне не деться, буду работать, - думала Мария, - буду работать днем и ночью. Картошку да свеклу буду копать днем, а резать подсолнухи и ломать кукурузные початки можно и в темноте".

Утром она пересчитала овец. Их оказалось девять. Мария поместила прибранных овец вместе с коровами. Места хватило на всех.

Наступил ноябрь. Становилось все холоднее. Все чаще срывался снег, шли холодные, злые дожди. Мария уходила в поле, резала подсолнухи, ломала кукурузные початки, трудилась на картофельном поле. Она давно уже забыла вкус хлеба, питаясь картофелем и молоком. Несколько раз при помощи алюминиевого термоса, плотно закрепив болтами его крышку, она сбивала из молока масло и старалась есть получше, чтобы не отощать вконец и не заболеть.

"Если, не дай бог, заболею, - пугала она себя, - тут придет конец и мне и ему, дитю моему".

Она потеряла счет дням, не знала, какой наступил месяц, и не думала об этом. Ладони ее затвердели на работе, покрылись кровавыми мозолями. Она почувствовала, что скоро иссякнут последние силы, и решила один день отдохнуть. С вечера нагрела воды, помылась, всю ночь крепко спала, а утром вышла из погреба.

Неярко светило солнце. Ночью мороз сковал льдом дождевые лужи, сверкающим инеем пал на сухие травы и на голые ветви яблони. Мария пошла к речке. Там тоже блестел позолоченный солнцем лед. Она осторожно перебрела речку, пошла вдоль линии окопов и только сейчас заметила, что в отдалении темнели такие же земляные брустверы. "Видно, - подумала, - там тоже окопы, схожу погляжу".

Шла она неторопливо, все время оглядывалась по сторонам, чтобы кто-нибудь не обнаружил ее на широком займище. Окопы были похожи на те, в которых Мария уже была. Они тянулись длинной извилистой линией, а за

ними, так же, как там, у речки, были разбросаны отдельные окопчики - пулеметные гнезда и ходы сообщения.

Мария спустилась в окоп, пошла, глядя себе под ноги. Здесь тоже валялись винтовочные патроны, подсумки, втопанные в землю бинты, пустые папиросные коробки, множество окурков. К стенке окопов были прислонены несколько винтовок, а в нишах тускло поблескивали гранаты. И такая странная и страшная тишина стояла в этом месте оставленного людьми побоища, что Марии стало жутко. Она остановилась, осмотрелась и вдруг на повороте окопа увидела мертвого солдата. Он лежал на бруствере, слегка раскинув ноги и вцепившись в рукоять пулемета. Лицо и руки мертвеца были серого, могильного оттенка, каска пробита, на шинельном рукаве ярко алела пятиконечная звезда.

Долго стояла Мария у ног мертвого. Видимо, прикрывая отход товарищей, молоденький политрук остался у пулемета один и отстреливался от наступавших немцев, прижимая их к земле яростным огнем. Вдали от окопа, в той стороне, куда направлен был ствол пулемета, валялись десятки вражеских касок. Мария поняла, что немцы унесли трупы своих солдат, а мертвый политрук с пулеметом так и остался на бруствере окопа, словно последний его бессменный страж...

Мария выбралась наверх, попробовала оторвать убитого от пулемета, но застывшие пальцы его не разгибались, будто приросли к оружию. Мария сняла с мертвеца пробитую каску. Темно-русые, мягкие волосы, тронутые ветром, слегка шевельнулись. Чуть выше левого виска черным сгустком бугрилась кровь.

Опустившись на колени, Мария посмотрела на мертвого политрука.

- Погоди, миленький, - сказала она, - зараз я схожу за лопатой.

Негоже тебе так лежать. Расклюют твоё тело вороны, на куски порвут волки и по степи разнесут... Захоронить тебя надо, а могильщицей я одна тут осталась... Если помру, не знаю, кто меня захоронит...

Она принесла лопату, проволоку, долго стояла над политруком, думала, где его похоронить.

- Милое ты мое дитя, - сказала Мария, - для меня легче всего было бы закопать тебя тут же, в этом окопе, который ты оборонял, уложить тебя на дне окопа и засыпать землей. Но разве так можно? Придет время, окончится война, вернуться люди, заруют окопы, и никто не узнает, где ты похоронен, и могилы твоей никто не найдет.

Неподалеку от линии окопов речное займище незаметно повышалось, и там, на этой высотке, приезжие городские топографы еще до войны установили нужную им для чего-то вышку. Когда началась война, офицер из военкомата приказал колхозникам снести вышку, объяснив им, что вышка эта может служить противнику ориентиром для артиллерийской стрельбы. Вышку снесли, порубили на дрова, а квадратный бугорок, на котором она стояла, остался. Мария решила похоронить политрука возле бугорка, чтобы могила его была видна издали.

Пробив слой промерзшей за ночь земли, она стала рыть могилу. Рыла долго. Отдыхала, поглядывая в ту сторону, где лежал неотделимый от пулемета мертвый политрук.

Мария поняла, что разжать одеревеневшие руки политрука ей не удастся, и потому рыла могилу гораздо длиннее, чем положено, чтобы похоронить мертвого вместе с пулеметом.

Закончив трудную свою работу, Мария вернулась к брустверу окопа, обвязала проволокой спину и руки мертвеца, несколько раз обернула этой же проволокой станину и ствол пулемета и, натужно дыша, потянула к могиле. Ей было очень тяжело. Она остановилась, отдохнула, из конца проволоки соорудила ляжку и, запахнув шинель, чтобы проволока не так давила грудь, потащила мертвого дальше. Отдыхала через каждые пять-шесть шагов. Когда дошла до ямы, остановилась, выпряглась из ляжки, подумала: "Надо его вверх лицом повернуть, чтобы он лежал в могиле по русскому

обычаю, на спине, головой на заход, а ногами на восход солнца..."

Присев на корточки, она одной рукой стала поворачивать мертвого, другой подталкивала, силясь перевернуть, тяжелый станковый пулемет. Наконец мертвый лег на спину, а пулемет оказался вверх колесами. Мария увидела совсем юное лицо политрука, темные, негустые волоски усов над губами. "Для серьезности отпустил мальчонок, - с жалостью подумала она, - и сам, видно, радовался усикам своим дитячьим..."

Очевидно, наступавшим немцам было не до убитого пулеметчика, который так долго держал их на подступах к окопам. На поясе политрука висели командирская полевая сумка и расстегнутая кобура.

Мария сняла с него пояс, из кобуры вынула чуть тронутый ржавчиной пистолет и, подумав, сунула в карман своей шинели. В полевой сумке нашла газеты, черствый сухарь, ярко вышитый кисет, зажигалку, а в карманах гимнастерки несколько писем, карандаш и фотографию красивой, похожей на школьницу девушки с двумя косичками. Светлоглазая девушка слегка улыбалась. В руках она держала книгу. На обратной стороне фотографии крупным ученическим почерком было написано: "Любимому Славке - любящая Лена. С надеждой на встречу".

- Не увидишь ты, Славка, своей Лены, и Лена тебя не увидит, - заплакав, сказала Мария.

Она тихонько стала подталкивать мертвого к яме и вскрикнула от ужаса. Из рукава убитого политрука одна за другой выбежали две полевые мыши и исчезли в густой, покрытой инеем траве.

- Боже мой, боже мой, - в отчаянии прошептала Мария. - Даже зверюшки и те боятся того, что творят люди, все-таки спасение от огня, крови и смерти ищут у человека...

Уложив мертвого на дне ямы и оправив его так и не отпустившие пулемет руки, Мария зарыла могилу, взяла на бруствере пробитую каску политрука и положила ее на свежий могильный холмик.

Дома, при свете коптилки, она прочитала все, что нашла в полевой сумке и в карманах убитого.

Первым ей попало письмо от матери.

"Дорогой сынок Славочка! - писала неизвестная Марии женщина. - Вот уже второй год пошел с того дня, как ты по своему добровольному желанию оставил нас и ушел на фронт. С той поры нет дня, чтобы я не думала о тебе и не плакала. Ты же знаешь, сынок, что я теперь осталась совсем одна. Отец воюет где-то под Ленинградом, пишет, что был ранен, полтора месяца лежал в госпитале, а теперь вернулся в свою часть. Следом за отцом ушел ты, и я надеялась, что Клава, сестричка твоя, а моя дорогая дочечка, останется со мной и мы вместе с ней будем дожидаться вас, наших бойцов. Но я не знала и не ведала, что Клава тайком от меня ходила по вечерам на курсы медицинских сестер. И вот месяц тому назад она уехала на фронт, и я не получила от нее ни одного письма. Может, ее уже и нет в живых. Как ты там живешь, как воюешь, родной сыночек? Очень прошу тебя, Славик, выполни одну-единственную просьбу матери: береги свою молодую жизнь, ты ведь совсем еще ребенок! Не кидайся первым навстречу смерти, будь осторожным. Знай, что я не переживу твоей гибели. Пиши мне почаще, милый мой мальчик. Я тебя целую тысячу раз. Твоя мама..."

Материнское письмо Мария читала сквозь слезы. Все расплывалось перед ее заплаканными глазами, и думала она одно: "Бедная ты, бедная мать! Живешь где-то одна, и нет у тебя уже сына, так же, как у меня нет сыночка Васеньки, и никто на свете не оживит, не вернет нам наших сыновей..."

Ответное письмо от сына к матери не было дописано. Видно, молоденький политрук писал его перед боем, который стал для него последним, и не успел дописать и отправить.

"Дорогая мама! - ломким, размашистым почерком, торопливо писал политрук. - Спасибо вам за письмо, оно меня очень обрадовало. Напрасно

вы жалеете, что Клава ушла на фронт. Она поступила правильно, так, как велела ей совесть. И уж совсем напрасно вы советуете мне беречь себя. Что это означает на деле? Что я, коммунист, политрук роты, должен быть в минуты опасности сзади? Конечно, я не лезу без надобности куда попало, мне не хочется умирать, так же, как любому человеку. Но если это надо, я обязан быть впереди.

Вы не представляете, дорогая мама, всю глубину того огромного и страшного зла, против которого мы воюем. Счастье ваше, что вам не довелось увидеть того, что видели мы в освобожденных нами селах и деревнях. Сожженные дома, горы человеческих трупов, виселицы, издевательства над людьми, пытки и расстрелы - вот что несут нашей земле гитлеровские фашисты. Мы должны, мы обязаны. мама, победить это черное зло, эту жестокую, свирепую банду убийц и насильников, иначе они поработят весь мир.

Мы, советские бойцы, сражаемся сейчас за будущее людей, за правду и чистую совесть мира. С этой уверенностью, с этой мыслью не страшно умирать, и, если я умру, не плачьте и не жалейте обо мне. Знайте одно: что ваш сын, так же, как тысячи других, не щадящих себя, отдал свою жизнь за правое дело.

Сейчас мы отступаем, но я верю, дорогая моя мама, что это ненадолго. Мы победим. Мы обязательно победим. Сегодня нашей роте предстоит нелегкая работа: мы должны прикрыть отход товарищей, и я уверен..."

На этом письмо обрывалось. Мария прилегла на нары, укрылась шинелью, в изнеможении вытянула усталые ноги, но уснуть не могла. На полу, у ее ног, мирно посапывали собаки, слабо мигала тусклая коптилка. Перед глазами Марии стояли судьбы двух погребенных ею людей: мальчишки-немца Вернера Брахта и молоденького политрука Славы. Она по-матерински жалела обоих. Короткая их жизнь была зло и нелепо оборвана войной, а они оба могли жить и жить.

"Смотри ты, как все на свете устроено, - думала Мария. - Две женщины родили двух мальчиков. Были эти мальчики, как все другие дети: душой чистые, ничем плохим не тронутые. Дети как дети. Потом одного из них недобрые люди стали учить всяким пакостям, стали втемняшивать в голову, что он рожден, чтобы стать господином, что ему все можно - убивать, грабить, и хоть он, может, противился этому, его силком погнали на войну и заставили творить все, чего хотелось проклятым его начальникам и таким же проклятым и злющим товарищам. И только когда достала его смертная пуля, он, должно быть, понял, что умирает за самое злое, самое отвратное дело. И тогда, перед смертным концом, проснулась его совесть, и он плакал горькими слезами и меня, чужую русскую женщину, называл мамой и руки мне целовал, и в тот последний час его жизни, наверное, все женщины, которые живут на земле, показались ему одной матерью, которая всех любит, жалеет, голубит; грудью своей кормит одинаковых, хороших мальчиков, и плачет, и терзается, и места себе не может найти, когда убивают ее родных мальчиков, деток ее любимых... Так вот и погиб один мальчик, Вернер Брайт...

А другого мальчика - его звали Славик - с малолетства учили всему доброму: ему говорили, что все люди должны быть счастливыми, что все они хотят жить, есть возделанный ими хлеб, любить, рожать детей, что ни один человек никакого права не имеет душить другого, что людям не нужна война, а нужен мир, и тогда они сами увидят и поймут, где лежит дорога к счастью, и не будут убивать один другого, и не будут измываться один над другим... И мальчик Слава, который родился на своей вольной русской земле, понял, что это хорошо и что он, в точности, как мой отец и мой муж Иван, в точности, как Феня, как Санечка, и еще много-много других честных людей, обязан оборонять свою землю и ту вольную дорогу, по которой только и можно дойти до истинного добра, до мира и до счастья. Потому и пошел мальчик Слава на войну добровольно и отдал свою молодую

жизнь за доброе, святое дело. Когда закончится война, люди поставят памятники таким героям, как Слава, и станут рассказывать о них своим детям и детям детей своих, чтобы все помнили тех, кто их спас от неволи и смерти..."

Уснула Мария только перед рассветом. Сквозь сон ей почудилось, что она слышит пение петуха. Потом запел второй петух, третий.

- Какие там петухи, - пробормотала она, - откуда им взяться?

Она снова вздремнула и снова услышала, как совсем близко запел петух, да так протяжно и голосисто, что Мария встала, протирая глаза.

- Что за наваждение? - сказала она. - Или я не проснулась?

Выйдя из погреба и всмотревшись в предрассветную мглу, Мария удивленно всплеснула руками. По ее сожженному подворью расхаживали десятки кур.

- Где же вы, бедняжки, бродили почти два месяца?! - воскликнула Мария. - Распугали вас люди, огнем отогнали от дома, а вы все-таки вернулись к человеку...

Она нарубила в лесу жердей, соорудила в коровнике насесты. Из найденных в окопах патронных ящиков сделала гнезда для кур и голубей. Но ни куры, ни голуби вначале не шли в коровник, шарахаясь от узкого, темного хода, проделанного Марией в горе обрушенных взрывом кирпичей. Лишь размельченные кукурузные зерна помогли ей заманить в убежище напуганных, одичавших птиц...

И снова потянулись для Марии однообразные, похожие один на другой дни. Наступила зима. Приморозило. Погода стояла переменчивая. Вначале шли снега, и тогда хуторское пожарище становилось белым, только темнели на снегу печные трубы да остатки стен. Потом теплело, снег тяжелел, подтаивал. На пустой хуторской дороге блестели лужи талой воды. Иногда после короткой оттепели мороз вновь сковывал землю скользким гололедом. Стянутые ледяным панцирем ветви яблони в такие дни склонялись к земле, и

в нерушимой тишине безлюдья было хорошо слышно, как они тонко и нежно позванивают, уступая порыву холодного ветра и роняя длинные, прозрачные сосульки...

Как только начинало рассветать, Мария управлялась со своим хозяйством. А хозяйство все прибавлялось. Однажды зимним предвечерем на сожженный хутор прибрели три рыжие лошади. Они шли, понуро опустив головы, тяжело передвигая ноги, хлопая полуоторванными подковами. Лошади были похожи на обтянутые кожей скелеты: острые мослы на их крупах выпирали, глаза слезились, все ребра можно было пересчитать. Лошади были подседланы и занузданы. Под седлами синели чепраки с красными звездами по углам. У одной седло сбилось под брюхо, и она плелась сзади, непрерывно спотыкаясь.

Когда Мария увидела несчастных лошадей, сердце ее зашлось от жалости.

- Как же вы живые остались?! - воскликнула она. - Кого вы носили на себе и где ваши всадники? Небось, сложили свои головы и лежат в степи.

Кто знает, как выжили уцелевшие в бою кавалерийские кони? Больше двух месяцев бродили они по пустошам, по полям. Железо удил мешало им жевать высохшие травы, кровавило рот. Сбитые с шеи сыромятные поводья волочились по земле, путались в ногах, жесткие седла и подпруги разъедали спины и бока.

Издали увидев вышедшую из погреба Марию, лошади остановились, настороженно подняли уши и жалобно, просительно заржали. Все три пошли ей навстречу, окружили и стали перед ней, опустив головы. Челки, гривы и хвосты их были унизаны колючими репьями, израненные удилами углы ртов кровоточили, а когда Мария сняла с них уздечки и седла, она вскрикнула от боли и жалости. Конские спины, с которых седла не снимались месяцами, превратились в покрытые струпьями раны, на которых рваными ошметками висела облысевшая, лишенная шерсти кожа.

- Бедные вы мои, бедные! - заплакала Мария.

Осторожными прикосновениями пальцев она смазала конские спины свежим сливочным маслом, накормила голодных коней кукурузой, с помощью тесака сняла с их ног хлопающие подковы. Обласканные кони послушно пошли в коровник и впервые за долгие дни скитаний поели и уснули в тепле.

Каждое утро она выпускала коней, коров, кур, овец. Чистила коровник, потом вела животных к речке, на водопой. Одно место на речной излучине она ежедневно проверяла, лопатой ломала на нем тонкий лед, не давая воде замерзнуть, и там, у длинной полыньи, поила скотину. К речке Мария всегда шла впереди, а за ней послушно шли спасенные ею животные. Должно быть, их согревала любовь и привязанность к единственному живому человеку, к ласковой женщине, у которой были такие по-матерински нежные руки и такой грудной, спокойный голос. Эта маленькая одинокая женщина кормила их, поила, вычесывала свалявшуюся шерсть, чистила обрывком мешковины, аккуратно выбирала в их ртах острые, колючие остья, и каждое прикосновение ее теплой руки словно возвращало их к тем временам, когда заботливые хозяева растили их, ухаживали за ними, холили, и они, благодарные людям, воздавали им за их заботу честным, нелегким трудом. Теперь, когда рядом была эта хорошая женщина, им всем казалось, что не было в их жизни ни насмерть пугающих взрывов потрясенной снарядами земли, ни всепожирающего огня, от которого они, звери, бежали сломя голову, ни голода, ни жажды, ни долгих скитаний в поисках спасителя - человека. Теперь им казалось, что все пережитое было лишь страшным, бредовым сном и что на свете существует только она, хозяйка, друг и ласковая повелительница - женщина, которая спасла их от смерти, собрала всех вместе, накормила, укрыла от снегов и свирепого холода, чтобы они могли жить, наслаждаться солнцем, рожать, как положено по земным законам, своих детенышей, чтобы потом, когда придет определенный мудрой природой назначенный час, спокойно уйти в небытие, уступив место под небом другим...

Все они издали узнавали шаги Марии и каждое утро, услышав ее низковатый, с хрипотцой голос встречали дружным, слегка ревнивым ржанием, мычанием, бляением, кудахтаньем, залившимся воркованьем. Она выпускала их всех, и они окружали ее, чтобы хоть прикоснуться к своей спасительнице: бархатистыми губами целовали ее заглодавшие на морозе щеки рыжие кони; на плечи и на голову, воркуя, слетались голуби; у ног хлопотали куры; коровы со сдержанным муканьем терлись шеями об ее бока; овцы, сгрудившись, смотрели на нее преданными глазами и помаргивали белесыми ресницами. Собаки Дружок и Дамка, которые не отходили от Марии ни на шаг, усаживались неподалеку и деликатно помахивали хвостами. Мария, напоив подопечных, отгоняла их на кукурузное поле, а сама продолжала свою нескончаемую работу: ломала кукурузные початки и относила их в воронки от бомб; резала подсолнухи, копала картофель, свеклу и морковь. Работала без отдыха, в любую непогоду, торопясь убрать побольше, чтобы спасти хоть часть того, что минувшей весной было посеяно и посажено ее бригадой. В морозные дни у нее сильно мерзли руки и ноги, губы обветрились, часто кровоточили. Не раз она плакала от боли и жалости к себе, называла себя дурой и чокнутой, еле удерживалась от того, чтобы бросить все, пожарче натопить печку и невылазно сидеть в теплом своем логове, но работу не оставляла. Снегом натирала руки и лицо, бегала по снежным сугробам, отогревая онемевшие пальцы ног, и с упрямым ожесточением продолжала работать.

Выпадали среди зимы и теплые дни, когда снег таял или шли проливные дожди, но Марии не было от этого легче: к немецким сапогам, в которые она была обута, налипали тяжелые комья грязи, Мария еле передвигала ноги, шагая по размокшей пахоте. Радовало ее только то, что одна из воронок уже была доверху наполнена кукурузными початками, почти половина подсолнухов срезана, уложена и накрыта, а ямы, в которые она укладывала вырытые ею картофель, морковь и свеклу, скоро можно было закрывать.

Когда Марии становилось совсем невмоготу, так, что она готова была упасть среди поля и лежать, не вставая, ей приходилось на день-другой прерывать работу. Но и в такие вынужденные дни отдыха она не сидела сложа руки: или чистила и убирала коровник, по-хозяйски складывая в сторонке навоз, или бродила по пустым окопам, собирая и унося к себе все, что, как ей казалось, могло потом пригодиться людям: снарядные ящики, мотки телефонных проводов, брошенные бойцами шинели, шапки, противогазные сумки, саперные лопаты, топоры, ломы, котелки, кружки и ложки.

- В хозяйстве все нужно будет, - говорила она себе. - Чего ж добро это будет ржаветь да гнить? Может, не всю нашу бригаду фашистские сволочи перестреляли. Может, кто и остался. Вернутся люди, и доведется им на голом месте сызнова все начинать...

В дни вынужденного отдыха Мария, взяв полевую сумку убитого политрука Славы и кликнув собак, обходила разные участки бригады и делала при этом пометки в Славиной записной книжке. Она записывала все, что ей удавалось находить: два покрытых ржавчиной трактора, два культиватора и девять железных бочек с соляркой в Грачевой балке, где все это перед самым приходом немцев захоронил Санин отец, загнав тракторы в гущу колючего терновника; исправная телега, шесть борон и сеялка, брошенные кем-то на дальнем участке; тяжелый тракторный каток, засыпанный снежным сугробом.

Мария не вырвала из Славиной командирской книжки исписанные им страницы, жалко было. Молодой политрук пофамильно перечислял погибших бойцов роты, раненых и прибывших с новым пополнением, еще не обстрелянных юношей. Тремя-четырьмя строчками он для памяти определял характер каждого бойца, чтобы потом поговорить с ними, помочь, если надо.

Так, продолжая Славины записи, появились новые, написанные Марией, строки о тракторах и сеялках, о саперных лопатах, топорах и ломах,

найденных ею в окопах, о брошенных солдатами мотках телефонного провода и колючей проволоки, обо всем, что могло согдиться вернувшимся на пепелище людям...

В один из морозных декабрьских дней Мария решила сходить на один из самых дальних участков бригады, который граничил с землями соседнего колхоза. Этот участок редко пахали, оставляя его для выгула телят. Соседи, чье село было далеко от хутора, километров за сорок, тоже ничего не сеяли на своих землях, потому что степь тут на большом протяжении была изрезана неглубокими балочками, водомоинами, солонцовыми западинами. Пахать ее было трудно, неудобно, и она годами лежала нетронутой.

День был морозный. Обведенное призрачными, радужного оттенка, кругами, низкое солнце желтовато освещало засыпанную снегом степь. Снег скрипел под ногами Марии, слепил глаза. Она шла медленно, по-утиному переваливаясь. Даже под запахнутой шинелью видно было, как выпирает ее живот. "Шестой месяц пошел, - прикинула Мария, - скоро уж рожать, и доведется тебе, дите мое ненаглядное, прийти в белый свет не в больнице, не в родильном доме, а на пожарище, в темном погребе..."

Уже четыре месяца она жила одна, не видя людей. За долгие месяцы у нее почти исчез страх. Она поняла, что гиблые эти места, отдаленные от большой дороги, никому не нужны, что немцы прошли куда-то далеко на восток и ей не угрожает опасность встречи с врагами. Теперь на душе у Марии остались только тяжкое горе, которое невозможно было выплакать никакими слезами, да тоска одиночества, ранящей душу оторванности от людей...

Вот и граница земли родной ее третьей бригады. Кругом пусто. Только невысокие столбики с черными, написанными дегтем номерами торчат из-под снега, да неподалеку высится потемневший от осенних дождей, чуть присыпанный снежком забытый стог сена.

Мария остановилась, постояла, сунув озябшие руки в рукава шинели. Ничто не нарушало зимней тишины. Где-то очень далеко шли невиданные по ожесточенности сражения, гремели залпы множества пушек, умирали тысячи людей, стонала потревоженная земля, а здесь, в пустом, осиянном желтым солнцем, заснеженном поле, стояла такая тишина, что Мария слышала дыхание сидевших поодаль собак, и ей казалось, что нет ни войны, ни смертей, а есть только это вечное, глубокой голубизны небо, и недоступно далекое солнце, и земля, которая кормит людей и, отдыхая, спит сейчас под холодным снегом, чтобы с первыми весенними лучами солнца пробудиться и вновь начать бесконечную, благодатную, нужную людям, животным и травам свою работу...

Вдруг Марии почудилось, что она слышит глухие, невнятные человеческие голоса. Ослабив туго завязанный, сшитый из палаточного брезента платок, Мария прислушалась. Да, там, где стояла покрытая снегом копна сена, слышался детский плач, а два голоса, тоже детских, уговаривали кого-то, и Мария ясно услышала слова:

- Перестань плакать! Слышишь? Тебе говорят! Перестань, а то немцы придут, всех нас повесят...

Дружок и Дамка, наострив уши, поглядывали то на копну, то на Марию и всем своим видом показывали: в копне кто-то есть. Приученные новой хозяйкой, они не кидались очертя голову, чтобы облаять неизвестную им опасность, а ждали сигнала.

Мария предостерегающе подняла руку. Осторожно, стараясь не скрипеть снегом, пошла к копне. У самой копны остановилась, шепотом сказала собакам:

- Тихо!

Из копны послышался тот же слабый детский голос:

- Не плачь, Дашенька! Слышишь? Не плачь! Разве ты одна хочешь кушать?

И Таня хочет кушать, и Наташа, и Лара, и Андрюша - все хотят кушать, а

они, видишь, не плачут...

Обойдя копну, Мария увидела протоптанную в снегу тропу. Из причолка высокой копны сквозь подтаявший снег едва заметно струился призрачный парок. Сердце Марии сжалось. "Дети! - мелькнула у нее мысль. - Малые дети! Заблудились... голодные..."

Она наклонилась, разгребла сено. Увидела смуглое лицо худенькой девочки, ее широко раскрытые, полные страха карие глаза.

- Не бойтесь, деточки, - негромко сказала Мария. - Выходите! Немцев тут нет... Я одна... Тетя Мария меня зовут... Выходите, прошу вас...

Из копны вылезла черноглазая девочка лет тринадцати, такая изможденная и худая, что Мария дрогнула от жалости.

- Откуда вы, детки, и сколько вас тут? - спросила она, обняв девочку.

Девочка заплакала навзрыд, упала на снег, обхватила ноги Марии непослушными руками, невнятно залепетала:

- Нас тут много... Семеро... Мы из Ленинграда, из детского дома... Эвакуированные... Нас долго везли поездом, потом, когда немцы стали бомбить поезд, наши воспитатели были убиты и много детей сгорело... А мы, которые остались живыми, убежали... Бежали долго и заблудились... Нас было восемнадцать, осталось семеро... Одиннадцать умерло по дороге с голода - три девочки и восемь мальчиков... Не обижайте нас, тетечка... миленькая... нам всем очень холодно, и мы хотим кушать...

Опустившись на корточки, прижав к себе худое тельце едва прикрытой лохмотьями девочки, Мария забормотала, содрогаясь от рыданий:

- Голубяточки мои... Деточки родные... Выходите все... Все выходите... Я вас накормлю, напою, искупаю... Мы будем жить вместе... Я одна, совсем одна... и голоса человеческого давно не слышала...

Из копны стали вылезать дети. Худые, полуголые, забитые, придавленные страхом и голодом, с глазами, полными слез, они сгрудились вокруг рыдающей Марии, навзрыд заплакали сами, повисли на ее шее, на плечах,

прижимались к ней, бились у ее ног.

Мария, пытаясь обнять и согреть их всех, целовала грязные их ножонки, жалкие, запавшие животы, давно не стриженные волосы, в которых торчали колючие сухие остья...

Они шли по заснеженной степи гуськом, одиноким, затерянным в глуши караваном, до которого не было дела ни прозрачному небу, ни холодному солнцу, ни равнодушной, скованной морозом земле. Впереди, неся на руках двух-, трехлетних детей - Дашу, которая плачем обнаружила жалкое пристанище сирот, и такого же мальчика Андрюшу, шла Мария. Черноглазая Галя - она в этой заблудившейся стайке была за старшую - тащила на спине совсем ослабевшую, уснувшую Олю, а белобрысая Наташа и две девочки - Таня и Лара, спотыкаясь, еле волоча ноги, брели сзади...

Весь вечер Мария грела на печке воду, поочередно купала детей, приспособив для этого большой алюминиевый термос из немецкой походной кухни, помыла им головы, напоила всех теплым молоком и уложила спать, а сама, поглядывая на спавших детей, принялась стирать их ветхие лохмотья.

Не спали только две старшие девочки - Галя и Наташа. Следя за Марией полузакрытыми глазами, они вздыхали, тихо ворочались, потом, не выдержав, стали шепотом, чтобы не разбудить спящих, рассказывать Марии о долгих и страшных мытарствах.

- Из Ленинграда наш детдом везли ночью на машинах, - шептала Галя. - Было очень холодно, и мы долго ехали по льду. Над нами летали немецкие самолеты, они бросали бомбы. Тогда прожекторы освещали томное, совсем черное небо, и наши зенитчики стреляли в немцев из пушек... потом нас привезли на какую-то станцию, посадили в поезд, но никто не сказал, куда мы едем...

- А в Ленинграде все люди голодали и воды ни у кого не было, потому что немцы окружили город, - вспоминала Наташа. - Нашему детдому еще давали хлеб и повидло... маленький такой кусочек хлеба, как спичечная

коробка, и чайную ложечку повидла... У нас умерло мало детей: только девять мальчиков и четыре девочки...

Галя прерывисто вздохнула:

- Люди там умирали прямо на улицах. Идет, идет человек, упадет и умрет... Долго лежит на тротуаре, пока кто-нибудь его похоронит... У нас, в соседнем доме, жил один доктор, так его девочка свои босоножки сварила, порезала ножом и ела... У нее каждый день была рвота, и она умерла возле ворот своего дома...

- Когда немцы бомбили наш поезд, было так страшно, - сказала Наташа.

- Они налетели утром, мы все еще спали. Вскочили от взрывов, а вагоны уже горят и опрокидываются под насыпь. В нашем вагоне была воспитательница Евгения Васильевна, хорошая такая, старенькая женщина... Она всегда в черном платье ходила и очки носила, потому что плохо видела... Мы, когда выскочили из вагона, видим: под насыпью Евгения Васильевна мертвая лежит, голова у нее оторвана, и кровь течет...

- А оторванная голова в траве... и очки на закрытых глазах...

Отвернувшись к стене, Галя заплакала.

- Не плачь, деточка, - сказала Мария. - Не плачь и ничего не бойся.

Теперь все будет хорошо... У меня вот тоже сыночек был, Васенька... такой примерно, как вы... так немцы его повесили...

Мария тоже заплакала. Теперь Галя стала ее утешать:

- Не плачьте, тетенька, не надо. Вы же сами сказали, что теперь все будет хорошо.

Помолчав, Галя закончила горестный свой рассказ:

- Когда немцы разбомбили наш поезд, все дети разбежались, кто куда. Всего нас в поезде было сто шестьдесят. Кого убили, кто сгорел и куда девались остальные, мы не знаем... Мы долго шли степью, лесами. Ночевали где-нибудь в кустах или в копнах, чтоб немцы нас не нашли. Иногда заходили в деревни, и женщины плакали и давали нам хлеба, сала, яичек.

Женщины в двух деревнях хотели нас оставить у себя, разобрать по домам, но мы один раз увидели живых немцев, они были все пьяные, в трусиках, в грязных рубашках с подвернутыми рукавами. Они стреляли из автоматов в людей, в собак, в кошек... Мы испугались и, когда стемнело, опять ушли в степь... Шли долго, много дней, и очень хотели нить. Один раз нашли пустые консервные банки, подвязали к ним проволоку. Получились ведрышки. Когда приходили к пруду или к речке, набирали в них воду и несли с собой...

- А что ж вы, бедняжки, ели? - спросила Мария.

- Ели что придется. Картошку копали и грызли сырую, потому что спичек у нас не было и мы не могли развести костер. Семечки подсолнухов ели, разную травку и листья жевали. Нашли брошенный людьми сад, яблок с собой набрали.

- Ну, а те три девочки и восемь мальчиков, - спросила Мария, - они что? С голоду умерли?

- Да, - спокойно сказала Галя, - с голоду. Сначала у них началось расстройство желудка, они одной водой ходили, потом совсем ослабели и умерли за два дня. Мы их закопали, крестики из веточек на их могилах поделали, поплакали и пошли дальше...

Мария погладила темные волосы девочки, прижалась щекой к ее щеке.

- Спи, деточка, - сказала она тихо, - больше этого ничего не будет.

Дождемся наших, и все будет хорошо...

Так семь маленьких странников, сирот из ленинградского детского дома, остались жить с Марией в ее теплом погребе. Вот Марии и пригодилось тряпье, которое она собрала в окопах, постирала и сложила про запас. Несколько дней она возилась, обшивая полураздетых детей: пошила им платьишки, тапочки и шапочки из плотного шинельного сукна, раскроила и порезала полинявшие солдатские гимнастерки на портяночки, одела всех потеплее.

С приходом детей Мария как будто ожила: рассказывала им о хуторе, о приходе немцев, о смерти Ивана, Васятки и Фени, о том, как она похоронила в кукурузе Саню, а потом несчастного Вернера Брахта и политрука Славу, как, ища человека, к ней стали сходить коровы, собаки, овцы, лошади, куры, как слетелись на хуторское пожарище голуби.

Она по-прежнему ежедневно уходила на работу, наказав детям никуда не отлучаться, выходить из погреба только по крайней нужде и не разговаривать громко, чтобы не привлечь к себе внимания.

Несколько дней она кормила детей щами из соленого конского мяса, заправленной молоком кукурузной кашей, потом зарезала овцу, пять кур. На ее глазах изможденные дети стали поправляться, посвежели, на их худых, обветренных лицах появился румянец...

Маленький Андрюша первый назвал ее мамой. Однажды вечером, когда Мария вернулась с поля и спустилась в погреб, мальчик вскочил с нар, повис у нее на шее и радостно закричал:

- Мама пришла! Мама пришла!

А трехлетняя Даша повторила, захлопав в ладошки:

- Мама! Наша мама!

Скрывая слезы, Мария сказала:

- Ну да... мама... ваша мама... а то чья ж?

В этот же вечер Галя, Наташа, Таня и Лара, окружив Марию, спросили застенчиво:

- Можно, мы тоже будем называть вас мамой?

- А я и есть ваша мама, - глухо сказала Мария. - Выл у меня один-единственный сыночек, а теперь вон вас сколько, и все славные, хорошие деточки...

Проходили зимние дни, долгие зимние ночи. В поле выли метели, высвистывала ветрами снежная пурга. А в жарко натопленном, скрытом от людских глаз погребе всегда было тепло, в железной печурке негромко

потрескивали загодя принесенные из леса дрова, мигал, слабо освещая детские лица, светильник-жировичок. Перед сном Мария рассказывала детям сказки или тихо-тихо пела любимую песню покойной своей матери:

Снежки, белые, пушисты,

Покрывали все поля,

Одного лишь не покрыли

Они горя моего...

Притихнут, прижавшись друг к другу, дети, слушают грустные слова

песни:

Есть кусточек среди поля,

Одинешенек стоит,

Он не сохнет, он не вянет,

А листочков на нем нет...

Слезы льются из глаз Марии, вытирает она их украдкой, чтоб не видели

ребята:

День тоскую, ночь горюю,

Потихоньку слезы лью.

Слезка капнет, снег растает,

Травка вырастет на нем...

Несколько вечеров Мария рассказывала детям о своем колхозе, об угнанной немцами третьей бригаде, о каждом из хуторян в отдельности. С гордостью говорила о том, как не покладая рук работала третья бригада на отведенной ей колхозной земле, какими чистыми были всегда поля пшеницы и кукурузы, каким упитанным и ухоженным - скот, как много молока давали коровы и какими сладкими и сочными были на бахче выращенные в бригаде арбузы и дыни.

- Как немцы пришли, так все это добро порушили. спалили, а людей всех угнали неведомо куда, - с горечью сказала Мария. - Не стало нашей бригады, и колхоза не стало. Вывеску и ту фашисты сорвали, бросили на

землю и ногами затоптали.

- А мы вывеску вашу видели, она на дереве прибита, - сказала Наташа.

- Это я ее прибила, - задумавшись, сказала Мария. - Жалко мне стало наших людей, которые столько труда в колхозную землю вложили, столько Почетных грамот и переходящих знамен получили за свой честный труд. Подумала я, подумала, подняла с земли эту растоптанную вывеску, прибила на старую яблоню. Погляжу на нее - и перед глазами, как живые, встают наши люди и зеленые поля и сады. Один раз глядела я на эту вывеску, вспоминала все, чем мы до войны и до этого разорения жили, и так решила: не дам сгинуть бригаде. сама за всех буду работать... Вот и работаю всю осень и почти всю зиму: подсолнухи режу, кукурузные початки ломаю.

- И много еще осталось убрать? - спросила Наташа.

Мария печально усмехнулась:

- Осталось начать да кончить, деточки. В бригаде у нас работали шестьдесят три человека, а теперь я одна...

Однажды вечером, вернувшись домой, Мария заметила, что старшие девочки шепчутся, поглядывая на нее просительно, вроде сказать что-то хотят. Наконец Галя решилась, подошла, теребя конец темной русой косички.

- Мы хотим вам помочь, мама, - сказала она, - вам трудно одной. А мы уже большие - Наташа вот, Таня, Лара и я. Оля будет оставаться с малышами дома, а мы четверо с вами в поле пойдем...

Пришлось Марии вновь заняться шитьем. Она порезала еще одну найденную в окопе шинель, пошила из сукна четверем девочкам валенки, вместо подошвы подшила конскую кожу, рукавички всем поделала, одела девочек потеплее, и пошли они с ней в поле.

- Ну вот, - сказала Мария, - это уже настоящая бригада. Теперь дело пойдет веселее. А за бригадира, деточки, доведется быть мне. У нас только один тесак, больше ничего нет. Значит, я буду резать подсолнухи.

Галочка их к месту относить будет, а вы, Наташа, Таня и Лара, кукурузные початки будете ломать и в воронку складывать...

Так морозным зимним днем в степной глуши возродилась уничтоженная немцами третья бригада колхоза имени Ленина...

С приходом девочек работа в поле пошла значительно быстрее. За три недели обе бомбовые воронки были заполнены обломанными кукурузными початками. Росли бурты срезанных головок подсолнуха. Все в новой большой семье Марин было спокойно, мирно: старшие девочки ежедневно выходили с ней на работу, сытые малыши вели себя чинно, из погреба никуда не выходили, скотина вовремя была накормлена и напоена...

Марии казалось, что уже ничто не нарушит той жизни, которая затеплилась на мертвом хуторском пожарище, что вокруг вечно будет стоять ничем не потревоженная тишина и никто из людей никогда не появится в глухой, засыпанной снегом долине и на покинутых, всеми забытых полях на холме. Но однажды ночью, когда все дети и обе собаки мирно спали в жарко натопленном погребе, Марию разбудил глухой отдаленный гул. Она приподнялась на нарах, прислушалась. Грозный гул не утихал. Он то приближался, и тогда Марии казалось, что земляные стены погреба начинают еле заметно вздрагивать, а коптилка в нише тревожно мигает; то отдалялся, слабея, откатываясь куда-то.

Мария встала, надела шинель, сапоги, повязала голову платком. Тихонько, чтобы не разбудить детей, вышла из погреба, прикрыла люк. Ее охватил знобящий зимний холод. Луны не было. На темном небе мерцали звезды. Снег голубовато светлел. За рекой, далеко на востоке, слабо трепетали красноватые сполохи. Басовый, утробный гул доносился оттуда, с той стороны, и Мария поняла: откатившийся на восток фронт вновь приближается сюда, к глухой, заснеженной степи, и вновь гремят тысячи пушек и горят хутора, села и города.

Она не знала и не могла знать, что в эту зимнюю ночь там, далеко, у

стен большого, разрушенного в непрерывных боях города на Волге, в гуле пушек, в бесновании минных разрывов и свисте пуль совершается то великое, что повернет, наконец, ход войны и принесет освобождение многим миллионам измученных, исстрадавшихся людей.

Мария не знала этого, но она не могла не понять, что услышанный ею после стодневной тишины отдаленный гул пушек означает одно: что немцы откатываются на запад, а советские армии наступают. В эту морозную ночь слабая надежда на то, что скоро на хутор придут свои люди, впервые возникла в ее душе.

Утром она сказала детям:

- Слышите? Это идут наши...

Отдаленную пушечную канонаду они слышали каждый день и каждую ночь. Но проходили недели, и казалось, великое сражение происходит в каком-то одном неведомом круге, и никакие силы не смогут разорвать границы этого смертного круга. Потом гул пушек стал слабеть, вовсе утих. Снова послышался где-то севернее, за холмами, то приближался, то отдалялся, и, сбита с толку, Мария уже не знала, что думать.

Дни шли своим чередом, становились длиннее, а ночи короче. Все больше пригревало солнце, и уже откуда-то с дальних полей, на которых кое-где еще лежали серые пятна отяжелевшего снега, по утрам тянуло запахом оттаявшей земли, а теплый ветер подсушивал лужи, и тогда всюду пахло близкой весной. Были дни, когда ветер начинал дуть с севера, небо заволакивалось низкими, темными тучами, в воздухе носились крупные снежинки, потом лили холодные дожди, и опять небо становилось ясным, и теплые лучи солнца пригревали землю, над которой легким маревом струился почти невидимый пар...

По примеру Марии, дети бродили по сожженным хуторским дворам и каждый раз возвращались с какой-нибудь находкой: то прокаленную пожаром мотыгу притащат, то вилы, то лопату или топор; а то насобирают полное ведро

обгоревших гвоздей, гаек, болтов.

Как-то после полудня, когда Мария, зорко поглядывая по сторонам, чтобы ее не прихватил кто-нибудь чужой, сушила на ветках яблони постиранную детскую одежку, к ней подбежала испуганная Галя и заговорила, глотая слова:

- Ой, как страшно, мама! Мы... это самое... кирпичи разбирали возле той стены, - она показала на остатки сожженного бригадного домика, - больше двухсот кирпичей собрали, сложили, и... это самое... под стеной нашли три черепа и кости... там, видно, кто-то сгорел...

Мария побледнела, схватилась за сердце. Она упала бы, если бы Галя не поддержала ее и не закричала:

- Что с вами, мама?

- Три черепа, говоришь? - с усилием разжимая бледные губы, спросила Мария. - Два больших, а третий маленький? Так, что ли?

- Да, два больших, а третий поменьше, - сказала Галя, - они лежали рядом, мы их так и оставили.

- Пойдем туда, деточка, - слабея, сказала Мария, - это они... Иван мой и Васенька... сыночек... и Феня с ними...

Да, это были останки тех, кого в тот страшный сентябрьский день казнили гитлеровские каратели. Перед уходом из горящего хутора они сняли повешенных с тополя и швырнули в объятый пламенем бригадный домик...

Долго убивалась Мария, стоя на коленях перед грудой обгоревших костей, долго целовала черные от копоти черепа, иступленно царапала землю, замирала в беспамятстве. Она выкрикивала слова любви и материнского горя, и эти бессвязные слова переходили в истошный звериный вой...

Испуганные дети окружили Марию, обнимали ее, в один голос кричали:

- Мама! Не надо, мамочка!

И вновь потрясшее Марию слово "мама" вернуло ее к жизни. Молча

поднялась она с колен, долго стояла, опустив голову, больно стиснув зубами пальцы покрытой сажей руки. Потом разжала рот, сказала коротко:

- Принесите ящик, который стоит в углу...

Это был обычный снарядный ящик, окрашенный краской цвета хаки, с двумя железными ручками. Еще осенью, бродя между двумя линиями окопов, Мария оказалась на покинутых огневых позициях. При отступлении артиллеристы успели увезти пушку, а десятки пустых гильз и четыре снарядных ящика бросили на речном займище. Мария унесла ящики к себе, один из них служил ей вместо стола.

Когда девочки принесли ящик и поставили у ног Марии, она сказала:

- Теперь нарвите полынка. Ничего, что он сухой...

Застелив дно ящика жесткой прошлогодней полынью, она помолчала. Измятая детскими руками, полынь слабо пахла горечью.

- Кладите в ящик все косточки, - сказала Мария, - ничего не оставляйте.

Пока старшие девочки, роясь в пепле, отыскивали и укладывали в ящик побелевшие, ломкие кости, а сверху положили три черепа - большие по краям ящика, а маленький в середине, - окруженная малышами Мария смотрела на них, ничего не видя.

Девочки опустили крышку ящика, закрыли его железной защелкой.

- Ну что ж, пойдете, - сказала Мария.

Она пошла впереди. Девочки несли за ней ящик с останками казненных. Сзади, серьезные, подавленные, шли, держась за руки, малыши.

Могилу Мария копала сама. Место выбрала рядом с могилами отца и матери. Молча выбрасывала тяжелой лопатой влажную землю из ямы. Парующая земля пахла весной. На голых кладбищенских тополях деловито хлопотали грачи. На солнечном пригреве, у подножия могильных холмиков, смутно зеленели первые травинки, пробившие нежными стрелками бурый, поникший старник.

Когда снаряженный ящик опустили в могилу и по его деревянной крышке глухо, утробно застучали комья земли, Мария вытерла пот на лбу, посмотрела на детей.

- Сколько мне довелось тут людей схоронить, - сказала она, - и всех было жалко... Теперь вот своих хороню, а сердце мое стало, как мертвый камень, потому что, деточки, сил у меня уже нет и выплакала я все слезы.

Дома, лежа в темноте погребца, сухими, воспаленными глазами глядя в потолок, Мария ощутила в себе сильные, требовательные толчки его, нерожденного. Толчки она чувствовала и раньше, но тогда они были слабыми, еле заметными, а теперь он властно требовал своего места под солнцем. Не ведая ни страха смерти, ни болезней, ни горечи утрат, ни любви, ни ненависти, он уже был готов подойти к истокам своей полной страданий и счастья дороги и, подчиняясь зовущей его силе жизни, толкал теплое и темное материнское чрево локотками, коленками, головой...

Прошел еще месяц. Все сильнее пригревало солнце. Апрельские дожди омыли землю, игривыми ручьями просверкали по речным водомоинам, стала выходить из берегов, помутнела малая речушка у хутора, и поплыли по ней ключья затвердевшей от крови ваты, грязные бинты, щепки - все, что скопилось на пологих ее берегах в минувшую осень. Зазеленело речное займище. Сочный пырей, лебеда и вездесущая щирица взошли на брустверах пустых окопов, на глинистой кромке ходов сообщения, окружили бетонные колпаки дотов и низкие земляные крыши покинутых людьми блиндажей. Даже мертвое хуторское пожарище, покоряясь весне, изменилось: теплые западные ветры и тихие дожди снесли с печных труб, с повалившихся стен черную сажу, она стекла вниз, просочилась в землю, и всюду светло-зелеными стрелками стали выклеиваться ростки молодых трав.

Вместе с детьми Мария сняла с пчелиных ульев зимнее укрытие, осмотрела все ульи, очистила их от мертвых пчел, от натертой молью восковой трухи, открыла пошире летки и долго стояла на пасеке в глубокой

задумчивости, слушая веселое жужжание совершавших облет пчел. Ходить ей было все труднее. Приближались роды, и она, немного стыдясь детей, прятала под шинелью обвисший тяжелый живот.

Первые схватки начались у нее на рассвете. Сутулясь от боли в пояснице, в бедрах, еле передвигая непослушные ноги, Мария затопила печурку, поставила греть воду, чисто вымыла алюминиевый походный термос, на твердом камне наточила немецкий тесак.

После восхода солнца она разбудила детей, проговорила слабым голосом:
- Выйдите, деточки, погуляйте, голубей посмотрите, курочек. Выйдите, прошу вас, и не заходите... Я потом всех позову...

Дети вышли из погреба. Люк оставили открытым. Желто-розовый солнечный луч заиграл на земляной стене. Лежа на полу, корчась от боли, Мария услышала залиvistый свист прилетевших недавно скворцов, далекое гоготанье гусиных стай...

Зубами она разорвала горячий плодный пузырь. Подумала: "В сорочке родился, счастливым будет". Прочной суровой ниткой туго перевязала пуповину новорожденного и отсекла ее остаток острым тесаком.

Младенец тоненько, слабо заплакал.

- Ну, здравствуй, сыночек... Здравствуй, Васенька, кровиночка моя, - в изнеможении прошептала Мария.

Она слегка приподнялась, опустила только что рожденного сына в походный термос с теплой водой, омыла его розовое тельце, обернула чисто выстиранной солдатской портянкой, прижала к себе и затихла...

Теперь, когда рядом с Марией лежал ребенок и она, бережно охватив его рукой, вслушивалась, как он тихо и ровно дышит, она почувствовала, что в этом тихом младенческом дыхании рожденного ею человека заключается вся ее жизнь, все помыслы и надежды, все, что есть у нее на испепеленной, искромсанной, изуродованной войной земле. Головка сына с мягким, еще не просохшим белесым пушком на пульсирующем темени лежала у Марии

подмышкой, и она, скосив глаза, смотрела и не могла насмотреться на влажные полуоткрытые губы ребенка, на его розовые, беззубые десны, на почти неприметные пузырьки слюны, которые вздымались и исчезали у его рта, повторяя мерное, спокойное дыхание.

Сын спал. В открытом люке погреба голубело чистое весеннее небо. До слуха Марии доносились приглушенные голоса детей. Дети говорили шепотом, чтобы не потревожить Марию, и она, не слыша их слов, зная, что они, сбившись в стайку под яблоней, говорят о том таинственном и торжественном, что только что произошло в темноте погреба, хотела подняться, позвать всех семерых, обнять их, прижать к груди, прикрыть своим телом, чтобы ничто на свете не смело отнять их у нее и не угрожало им... В это мгновение обессиленной, ослабевшей после родовых мук Марии показалось, что она родила их всех, беззащитных, рассеянных войной по неприятным угрюмым полям малых людей, от которых она, родившая их мать, должна отвести смерть...

Ее одолевала дремота. Слабой рукой она гладила пушистую голову сына, всхлипывала. Ей почудилось, что в свисте пуль и грохоте снарядов, в разгуле убийств, жестокости, крови она родила не только сына и тех семерых мальчиков и девочек, которые стояли там, наверху, под яблоней, но, содрогаясь от мучительной боли и счастья, родила всех детей истерзанной земли, требующих от нее, матери, защиты и ласки.

- Вы будете жить, - в изнеможении шептала Мария, - вы все будете жить...

Ни смерть, ни огонь, ни раны изуродованной войной земли не могли остановить жизнь... В конце апреля возле погреба, в котором Мария прожила всю осень и зиму, неожиданно зацвела обожженная пожаром яблоня. На ней еще не было зеленых листьев, только робко распускались редкие почки, еще чернели оголенные, тронутые пламенем полумертвые ветки, а уже белые, с красноватой сердцевинной лепестки цветов засияли, нежно и

трепетно красуясь на утренней заре.

- Жалкие вы мои! - растроганно проговорила Мария, любуясь яблоней. -

Гляди ты, живы остались!

Она стояла под яблоней, дожидаясь детей. Перед восходом солнца дети погнали на водопой скотину, и Мария забеспокоилась, почему так долго их нет. Вдруг она увидела выехавших из леса трех всадников. Самые маленькие дети сидели у них на руках, а старшие девочки вприпрыжку бежали рядом, радостно вскрикивая. Мария присмотрелась: на защитных гимнастерках всадников сверкали боевые советские ордена. Это были разведчики гвардейского кавалерийского полка, который прорвался в тыл отступавших немецких войск.

Если бы один из всадников, увидев бледнеющее лицо Марии, поспешно не соскочил с коня и не поддержал ее, она упала бы, теряя сознание.

Очнувшись, Мария рассказала разведчикам все, что довелось ей пережить на безлюдном хуторском пепелище. Они постояли перед прибитой на цветущей яблоне, простреленной пулями вывеской, потом, провожаемые детьми, шагом, объезжали убранные Марией поля, постояли, сняв фуражки, у свежей могилы на кладбище.

В тот же день обо всем, что разведчики увидели, они подробно доложили командиру полка.

...Только что отгремела первая весенняя гроза. Деревья в негустом дубовом перелеске, зеленое займище, серо-голубые кусты молодой полыни по обочинам проселочной дороги сверкали радужными дождевыми каплями, и все вокруг сияло, переливалось, пахло свежо и молодо, как всегда бывает после буйной майской грозы.

Наш гвардейский кавалерийский полк двигался по залитой лужами дороге, чтобы к ночи обойти районный центр Н. и внезапной атакой обрушиться на засевших там, по-волчьи огрызавшихся немецких егерей.

Командир полка, пожилой майор, ехал впереди первого эскадрона, рядом

с тремя разведчиками, которые успели побывать на пепелище сожженного хутора и рассказали нам всем о Марии.

Ее мы увидели, как только стали переезжать заросшую невысоким камышом речку. Она стояла на покато холме с младенцем на руках, босая, с распущенными волосами. Вокруг нее сгрудились дети, коровы, овцы, куры. Заметив нас, звонко заржали рыжие кони. Вверху носились белокрылые голуби.

Подъехав к Марии, командир полка остановил эскадрон, сошел с коня. Слегка прихрамывая, он подошел к ней, пристально посмотрел в глаза, снял фуражку и, мараю жидкой грязью полы щегольского плаща, опустился перед Марией на колени и молча прижался щекой к ее безвольно опущенной маленькой жесткой руке...

Солнце поднялось выше. Густые кроны деревьев в старом парке, зеленая трава на полянах и цветы в клумбах после теплого ночного дождя пахли свежо и молодо. Хлопотали, охорашивались в кустах серые и черные дрозды. По усыпанной желтым песком аллее, чинно держась за руки, прошли мальчик и девочка. Красивая женщина в белом платье неторопливо катила детскую коляску. Внизу, у подножия холма, сверкали крыши древнего города.

Раскрашенная мадонна в каменной нише немислимо синими глазами смотрела на детей, на птиц, на купола соборов, костелов и монастырей. Тени слегка колеблемых утренним ветром кленовых листьев причудливо играли на ее лице, но эта игра теней не оживляла ни румяных щек мадонны, ни мягко очерченных губ, ни кукольных глаз.

Я всматривался в ее размалеванное лицо, вспоминал историю простой русской женщины Марии и думал: "Таких, как Мария, у нас на земле великое множество, и придет время - люди воздадут им должное..."

Да, такое время придет. Исчезнут на земле войны, не будет убийств,

грабежей, лжи, коварства, клеветы. Белые, черные и желтые люди станут людьми-братьями. Они не будут знать ни угнетения, ни голода, ни унижающей человека нищеты. Они обретут радость, счастье и мир.

Так будет. И, может, тогда не выдуманной художниками мадонне воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый величественный монумент, а ей, женщине-труженице земли. Соберут белые, черные и желтые люди-братья все золото мира, все драгоценные камни, все дары морей, океанов и недр земли, и, сотворенный гением новых неведомых творцов, засияет над землей образ Матери Человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной нашей любви..."